
Елена КРЮКОВА

ХОСПИС

Роман

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Евангелие от Луки 15:20–24

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТЕЦ

<...> Хотя он и стар был уже, настолько стар, что стал уже путать времена, и частенько ему казалось — за окном на ветру мотаются красные флаги, и шелково, подхалимски переливаются под тусклым масляным шаром холодного солнца, — однако он еще работал, правда, оперировал все реже и все чаще консультировал, и все толще становились плюсовые стекла в его старых очках, — дужки отвалились, и он приделал к оправе резинку и так, на позорной потешной резинке, вздевал совиные мутные очки себе на потную переносицу. Старый, а с работы не гонят. И на том спасибо.

Каждое утро надо было встать и привести себя в порядок. В порядок себя приводить становилось все труднее. Труд — принять душ и крепко растереться жестким полотенцем. Труд — вскипятить чайник и пожарить яичницу. Труд, и ужасный, — одеться.

Елена Крюкова — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «День и ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Рай», «Беллона», «Солдат и царь», «Русский Париж», «Пистолет», «Царские врата» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург) за лучший роман 2012 года («Врата смерти», № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной премии им. А. М. Горького («Серафим», 2014), Пятого и Седьмого Международных славянских литературных форумов «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014; «Солдат и царь», 2016), Международной литературной премии им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), Международной премии им. А. И. Куприна («Солдат и царь», 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Бунина («Поклонение Луне», «Беллона», 2015).

НЕВА 3'2019

Он не умел и не любил одеваться. Он с одеждой мирился. Когда была жива жена, она его одевала, любовно и заботливо. Она даже мыла его в душе; он садился в ванне на корточках, и она окатывала водою его лысеющую голову и размазывала по ней горсть шампуня. А потом терла мочалкой. Вздыхала: «Мотя, ты у меня такой красивый!» Не видела его обвисшего живота, высыхающих ног, лысины. Она любила его.

Жена, ты ушла. Далеко, отсюда не видно. Он шел в больницу и шевелил губами беззвучно: я вор, я вор. Вот я своровал у времени еще одну ночь. И сейчас сворую еще один день. День был и правда драгоценный: он сиял во всю ширь неба грязными стеклами больничного вестибюля, скалился беззубой улыбочкой больничной гардеробщицы. Здрасьте, Матвей Филиппыч! Он сухо кивал старухе. В здании пять этажей, а лифта нет. Что ж, это полезно, ноги пусть ходят по ступеням. Ножки, шевелитесь. Он поднимался на второй этаж и уже задышался, будто тонул, а подходя к четвертому, к своей хирургии, пыхтел как паровоз.

Беспощадный дневной свет заливал ночные, сонные лица. Больные лежали, вставали, ходили, и все как во сне. Они ничего не хотели, и они хотели всего. Они хотели, чтобы он сказал им, как правильно своровать здоровье. Украсть: с богато накрытого, с винами и заморскими фруктами, стола, из ящика старого, с тараканами, нафталинового шкафа. Струились вниз простыни. Горбилась чья-то спина под пятнистым халатом. Пояс развязывался, халат падал на вымытый с хлоркой пол, и ночная рубашка лилась кислым молоком, и в ее вырезе обнажалась коричневая, горелая плоть — высох пирог, зубом не укусишь, зуб сломаешь. Кожа да кости. Всех в землю положат! Матвей подходил к больной, клал свои ловкие, воровские руки ей на плечи. Лягте! Я вас осмотрую. Старуха послушно ложилась. Панцирная сетка лязгала. Матвей вел кончиками пальцев по лбу, по ключицам, бабка, кряхтя, трудно переворачивалась на живот, он мял жесткий хребет, и под его пальцами звенели ксилофоном и уплывали прочь легкие деревянные позвонки. Доктор, что у меня? Только не врите мне! Он беззастенчиво врал больной: дела на поправку! Выходя из палаты после обхода, кивал медсестре и бросал на ходу: эта бабуля, у окна, умрет завтра вечером. А у нее есть родня? — деловито спрашивала сестра, поправляя на лбу белую шапочку и кокетливо глядясь в Матвея, как в зеркало в коридоре. Нет никого, одна она. Сразу куда надо везите.

Эти люди, они блуждали вокруг. Обступали его. Больница уже была не больница, а его странный странноприимный дом, его бедняцкая гостиница, где накладывали холодной каши в казенную тарелку, а по палатам носили в клетке волнистого попугая, чтобы он почирикал людям их глупые, людские слова и они на миг забыли о своих страданиях. Птица в клетке! Они все тоже сидели в клетке. Только не вылететь уже из нее. Падают простыни на пол, их подхватывают и заворачиваются в них. И так стоят, в белых, в желтых тогах. Счастливы те, кому выдали цветное белье, розы, маки по подолу. Волнистый попугайчик картавит, скрежест по-человечьи. Кривой клюв щелкает, раскрывается и закрывается. Да он не живой, а заводной! Игрушка! Попугая обступают люди в античных тогах, птица косит хитрым блестящим глазом, синим с золотым ободком, и хитро думает про людей: я настоящая, а вы все игрушки.

Люди перемещались по палатам и коридорам, шастали в отхожее место, несли в дрожащих руках грязные тарелки на кухню; и люди лежали, и лежачих было больше, чем ходячих. Лежачих надлежало жалеть больше, но внутри Матвея не осталось жалости. Подходя к очередной койке, он хватал все с ходу цепкими глазами: возраст, кость срастется плохо. Щитовидка, грубый шов, белые губы, голос низкий и хриплый, началась микседема, лишку правой доли оттяпали. Откидывал простыню. Отлеплял от живота пластырь. Удаляли аппендикс, а шов разошелся! И температура, и сколько? Под сорок? На стол, у больного перитонит, начинается сепсис! Не углядели! В хирургии много чего можно не углядеть; если с ножом лезешь внутрь человека, ты разрезаешь

в нем вековые связи. Сокровище на куски кромсаешь. После склеиваешь, сшиваешь; напрасно.

Он шагал по больничному коридору тяжело, медленно. Входил в палату. Прикрывал за собой дверь. Клетка с говорящим попугаем стояла на подоконнике. Матвей садился на край койки и робко и мрачно, исподлобья, оглядывал палату. Так сундучный паук оглядывает свое ветхое богатство: тряпки, ложки, чашки, отрезы. Под сводами слепого потолка ходили слепые. Они не хотели видеть смерть. Шамкали смешными ртами. Обсуждали чью-то участь, не свою, нет. У кого мерзла голова, тот сидел на койке в вязаной шапке и ноги кутал в одеяло. Вчера прооперировали рабочего речного порта, он упал с подъемного крана; его задранная нога торчала в туманном воздухе, белое березовое полено, прицепленное к железным стержням и подвескам. Так он будет лежать месяц, может, больше. Надо сказать близким, пусть веселые книжки ему принесут. Операцию делал другой врач, не Матвей: моложе втрое. В сыновья ему годился. Иногда больные в полутьме оборачивались к нему, и он дрожал: у них были странные лица его умерших сыновей и дочерей.

Чуднее всего в палатах было вечером. Вечерний свет менял лица и фигуры. Люди из больных становились царями, слугами, насекомыми. Гранитными, бронзовыми памятниками. Поднимали руки и так стояли, указуя путь. Зеленый маленький попугай вылетал из клетки и садился памятникам на плечи, на затылок. Молчал; нечего было сказать. Когда в окне, за грязным стеклом, появлялась первая морозная звезда, попугай смятенно хрипел: «Яша хар-роший! Яша хар-роший!» Все ему верили. Этот сумасшедший старый врач, зачем он к нам заглядывает? Он стоит в дверях, не заходит. Наблюдает. Какой врач, что ты мелешь? Нет никакого врача! Есть только эта, вот эта палата. Этот кусок жизни, и он ржаной. Погрызи его еще слабыми челюстями, пососи. Очень ведь вкусно. Вкуснее не бывает. Я ничего вкуснее не едал. И я тоже. И я.

Фигуры смещались, наплывали друг на друга. Заслоняли друг друга. Из трех делалась одна. Два глаза из-под круглого черепа, обтянутого вязаной шапкой, смотрели на Матвея, и он знал, тут не два глаза, а шесть. Сам воздух обращался в зрение. Плыл и выгибался крупной, круглой толстой линзой. Палата страдала дальновзоркостью. Больные глубоко вдыхали вечерний воздух — из открытой настежь стеклянной двери, из хлорного коридора, втекал в ноздри грубый запах кухни: вчерашние пирожки с капустой, нынешняя рисовая каша, горелый завтрашний омлет. Фигура в светлой, светящейся простыне подходила к окну. За окном угасал свет. Взамен наружного света свет теперь шел от мятой простыни, от плеч, укутанных в парчу и виссон. Царь, прокляни меня! Или благослови меня! Сгибались спины. Стукались об пол колени. Сильно, терпко пахло хлоркой. Глаза Матвея плавали под кустистыми, страшными бровями. Он наблюдал, как жизнь плотней запахивает тогу на груди. Как волочит за собою парчовый, жалкий подол. Его изорвала когтями эта полоумная птица! Скорей, скорей ее обратно в клетку!

А чуть позже в темной палате зажигались свечи, и больше сюда уже никто не входил и отсюда не выходил — люди застывали торосами над ледяною гладью постелей, и даже говорить они уставали, а этот доктор, чудик, он ушел или нет еще, да давно уж ушел, а он что, дежурный, а какая разница, если с кем плохо, он в ординаторской на кушетке спит. И без одеяла? Ну что ты, дурачок, с одеялом, конечно. И с подушкой. Как же без подушки. Спи-усни, угомон тебя возьми!

А нынче все эти больные, эти немощные цари и холопы вдруг пришли сюда, в его квартиру, смешались с его прозрачной, незримой роднею, и он теперь не мог достоверно различить, где родня, а где чужаки. Пытался рассмотреть их всех затылком. Мороз подирал по коже ссутуленной спины. Потные, скользкие ноздри раздувались. И легкие раскрывались, разлетались двумя парчовыми, ало-золотыми лоскутами. Когда

он дышал, молчал, лежал, ел или шел, он анализировал свою хитрую физиологию: вот жидкость втекает в пищевод, вот суставы сгибаются и разгибаются, создавая иллюзию движения. Фокусы, усмехался он над собой, всюду фокусы! Нам только кажется, что мы живем. Ведь на самом деле мы не живем. А может, только вспоминаем о жизни!

Шорох шагов, шарканье подошв по полу; солдатские сапоги, стариковские тапки. Босые ноги бегут по сухой, как кость, половице беззвучно. Не девочка, бабочка: дрожит крыльями, они в золотой пыльце, перебирает лапками. Тонкое брюшко обсыпано серебристой, мелкого помола мукой. Сахарной пудрой. Печальная старуха склонила голову. На ее костлявых плечах дырявая простыня. Она пытается закутаться в нее, как в пушистую шубу. Шуба истлела. Осталась больничная бязь, вся в казенных черных печатях. А, да это же его покойная жена! А почему она старуха? Она же молодая! Такая поджарая, горячая степная кобылица! И играет под ним. И он на ней скачет, скачет вперед, все вперед и вперед, по голой и мертвой степи. Огненный шелк, раскаленные ребра. Это все тоже обман. Где кобылица? В земле. В длинном странном ящике, сколоченном из сырых, плохо струганных досок.

Люди молчат за его спиной. Ходят тихо. Мерцают глазами, руками. Тускло гаснут одежды. Горят пальцы, как свечи. Может, он во храме? Он туда не ходил. Он был всегда атеист, сначала красный галстук, потом комсомольский значок, застылая капля красной блестящей смолы; потом уличное дежурство, дружины, красная повязка на рукаве; потом подбивали вступить в партию, а он толком не знал, что такое партия, хотя во всех газетах хором гремели ей славу, но он ее боялся, как боялся змеи в песках или волка в зимнем лесу; и он отказался, и на него в больнице косились, шептались о нем в столовой и в курилках, а потом о партии забыли: Родина лопнула по швам. Ее сшивали новыми стальными иглами и новыми суровыми нитями, и он, уже бывалый хирург, наблюдал, как на Красной площади народ танцует бешеные танцы, как новым умалишенным танцем, хороводом, парами, вприсядку люди обреченно обнимают всю страну, больную, ослепшую, и дрожащими руками она ползает вокруг и впереди себя, осызает путь — и не нашарит.

Пояс старого красного длинного халата развязался. Он завязывал его, и руки тряслись. Кошка черною худой лапой трогала красную кисть.

Нет, это не храм. Это дом. Его дом. И нет страха. Или есть страх? А перед чем страх? Перед этим пресловутым переходом? Переход. Он прошептал его латинское название: репагулюм. Какой, к чертям, переход! Латиняне имели в виду преграду. Забор, короче! И он подойдет к забору. Может, очень скоро. Уже пора ему. И скажет: ну вот, дурак репагулюм, давай-ка и я через тебя перейду. А может, тебя просто повалить, забор треклятый? Уронить, разрушить? Пнуть тебя как следует — и станцевать на твоих деревянных костях?

Храм. Дом. Тьма. Люди за спиной. Они ходят за спиной. Время идет по земле мерными и тяжелыми стопами. Матвей страшился обернуться. Он трусил увидеть время в лицо. Закрывал глаза. Сильнее горбил спину. Он думал: время, у тебя слишком яркие глаза, горящие, острые, они проткнут меня насквозь. А я еще пожить хочу!

Сидел в кресле с закрытыми глазами. Затылок ощущал чужие дыхания. Когда-то они были родными. Вскочить, замахать руками! Отогнать назойливых мух. Призраки, родные и любимые, прочь! Вон отсюда, кыш, кыш! Холодно, насмешливо думал о себе: это работа психики, идет распад тканей, нейроны теряют силу, артерии мозга склерозируются, и делу конец.

Возник звук. Дверь открывалась. Входная? В комнату? Затаил дыхание. Губы стали холодными, а лоб мокрым. Вошли? Открыли замок отмычками?

Шаги. Медленные, осторожные. Они раздавались еще далеко.

Может, в прошлой жизни.

Я брежу, подумал Матвей, мне снится сон, и надо быстрее проснуться.
Шаги из прихожей переместились в комнату, где он сидел в кресле у окна.
Надо встать, думал Матвей беспомощно, обязательно встать!
Ноги ослабли, хилые макароны. Он продолжал сидеть и думать о том, как он встает.

Во весь рост. И оскаливается страшно.

Важно сделать страшную маску, неподвижную, и ею, дикой, подземной, напугать бандита!

Кошка тихо, хрипло мяукнула.

Он вспомнил бандюков, кто прижигали ему ступни утюгом. Он уже это все пережил; зачем Бог опять показывает это ему? Одну и ту же чертову картинку? Ты забыл, Бог, я это затвердил уже, выучил наизусть. Сейчас отбарабаню без запинки.

Люди за его спиной потемнели лицами и засветились глазами. Лица сожрала тьма, а глаза разгорелись ярче, бешеной. Они стали сбиваться в кучу. Прижиматься боками, плечами друг к другу. Они словно мерзли и хотели согреться. Как в нетопленной палате, в выставшей больнице зимней ночью.

Люди пожирали его сутулую спину и лысый затылок голодными, горящими глазами.

Он понял, почувствовал: люди хотели пищи, и ему надо было их — самим собой — накормить.

А он себя жалел, не давал кромсать никаким ножам.

Ах ты, хирург, сам-то режешь налево-направо. Сам... кромсаешь...

Шаги ближе. Ближе. Он зажмурился. Жмурься сильнее! Еще сильнее! Сейчас из-под прижмуренных век полетят искры боли, и ты займешься пламенем и проснешься!

Шаги стихли.

Тот, кто стоял за его спиной, рядом с его мертвецами, молчал.

Было слышно только его дыхание: хриплое, медленное, редкое.

Хрипы звучали громче, когда он вдыхал, у него булькало в груди. Выдыхал человек через заложенный нос, носом свистел, как чайник. Смешно и страшно.

И запах. Этот никогда не чуемый им запах.

Гадкая, рвотная смесь пота, мочи, моченого хлеба, водки, опилок, соленой рыбы, дерьма, дерна, земли. И немного, чуть, горелой сдобной корки и яблочной гнили.

Еще чем-то пахло.

Таким, что из него вытекли, будто быстро и крепко выжали его, быстрые, стыдные слезы.

Матвей медленно, со скрипом разгибая колени, поднялся из кресла. Выпрямить спину было трудно. Больно. И ни к чему. В его выгнутые лопатки, в позвоночник вонзался огонь этих чужих зрячих глаз, его обдавал этот безумный запах.

«Жаль... как жаль... надо в кармане халата дома всегда... нож таскать... а лучше пистолет... пистолета нету... где я возьму пистолет... и главное... теперь уже поздно...»

Теперь надо было только повернуться. Больше ничего.

И он повернулся.

Две черные кошки с хвостами-крючками безмолвно, недвижно стояли за ним. У его внезапно ослабевших, с робко согнутыми коленями, тощих ног.

Напротив него стоял лысый старый человек.

А может, долыса бритый. А может, молодой, он еще не понял.

Иглы, колючки вместо волос. Колючее лицо. Грязь на щеках. Будто плакал грязью.

Лицо человека было ему тесно. В нем он задыхался. Он глазами лез, вылезал из лица, глаза умирали на лице, проклинали все, что видели, и тут же воскресали.

Они еще могли воскресать, хотя вылезали из орбит, будто на рот лысого наступили сапогом и подошвою давят, давят, и хрустят кости и зубы.

Лохмотья на плечах. Дыры вместо куртки. Дыры вместо рубахи. Лоскуты мотаются. Вспыхивают заплаты. И опять зияют дыры, а в них светится тело, век немытое, дикое.

Не человек. Зверь. Только глаза человечьи.

Стоял он спокойно, чуть ссутулясь. Будто Матвея в зеркале отражал. В самом себе. Спокойно с виду, а внутри чуялась пружина: вот-вот вздрогнет, оттолкнется ногами от половиц и полетит. Куда? В окно вылетит? Как ангел Божий? Или чертово помело? Слишком лысый. Гладкий до страха череп. Яйцо костяное, и разбить его рука тянется. Ни молота в руке, ни чайной позолоченной ложки. Скорлупа эта лишь чудится хрупкой. На деле она тверже железа.

Матвей обводил его глазами. Кто это? Скулы торчат. Щеки ввалились. Кожа обтягивает черепную кость. Голоден! Это грабитель. Это просто нищий! Он просто вперся к тебе пожрать. Как он открыл дверь? Ни ключей у него в руках. Ни отмычек. Ни лезвия. Плечом выдавил? Его железную, тяжелую, как баржа, дверь?

Матвей глаза на его ноги перевел. Ноги, Господи. Ноги. Эти ноги шли. И пришли. Дошли. Как они дошли сюда — в таких башмаках? Это же не башмаки. Это опорки. У сапог обрезали голенища изношенные, и вот то, что осталось, он истаскал вдрызг. Бродяга. Бедный.

Жалость вызвала в Матвее дрожь.

Он стал дрожать, сначала мелко, потом все крупнее, дрожь налетала судорогами и сотрясала его.

Глядел на него лысый человек, взгляда не отрывал.

Матвей дернул головой вверх и вбок, повел подбородком, пытаюсь лицом от этого зрячего огня ускользнуть. Не получалось.

Запахом страшным тянуло, обнимало.

Матвей вытянул вперед руки. Будто хотел оттолкнуть бродягу.

И вдруг бродяга качнулся, сильнее пошатнулся — и, будто кто его косою хлестнул под коленями, кулем повалился на пол, к ногам сгорбленного, зверем дрожащего Матвея.

— Отец!..

Волос за волосом стали подниматься на голове Матвея; неудержимо восставали вокруг лысины жалкие волосы, это пламя над ним восставало, обнимая его темя мрачно-красным, обжигающим нимбом.

— Как... что...

Он внезапно ослеп. Веки напоззли на радужки и зрачки. Принакрыли, упрятали от него видимый мир, и этого нелепого нищего на коленях, что так нагло, дико посмел к нему обратиться. «Это всего лишь насмешка. Абсурд. Ворвался сюда. Втек неведомо. Кем притворился?! Зачем?! Бандит, а нарядился жителем свалки! Боже! Я в Тебя не верю. Но Ты не дай ему надо мной... издеваться... этому... прибуде...»

Бритый бродяга стоял на коленях, как примерз к полу. Будто застыл; глаза застыли, руки заледенели. Губы не разомкнутся. Ой, нет, вот дрогнули и раздвинулись. Он скалился. Он... улыбался! Или сложил рот для крика? Для плача?

«Может, мне завопить и зарыдать первому? опередить его? Обмануть?»

Руки протянуты вперед. Он сам шатается и вот-вот упадет. Нет опоры. И тяжести тоже нет. Оба невесомы. Это сон, и ему придет конец. Вот сейчас! Не приходит. Длится молитва. О чем безбожник молится? Дай вдохнуть воздух. Задыхаюсь. Я тону, и толща воды смыкается надо мной. Время всасывает меня в себя. Этот лысый зверь, зачем он свалился к ногам другого зверя, и оба дрожат? Дрожь слышна. Она слышна так же, как и запах. Остался только запах, а зрения нет, и боли нет, и мыслей нет. Есть еще слух.

Но и он гаснет. Нищий шепчет что-то — он не слышит. Невнятный шорох доносится из чужой пересохшей глотки. Он хочет пить, Матвей, он долго шел по земле, дай ему напиться! Он замерз и изнемог. Неужели ты не дашь ему стакан воды? Не протянешь руку? Не уложишь на матраце своем, не укроешь теплым, верблюжьим одеялом своим? Матвей шел вперед, шагал, ему казалось, крупно, на самом деле он еле полз, ноги гладили половицы двумя холодными утюгами. Он стал видеть не глазами, чем-то иным. Видеть не только то, что моталось перед ним. А все сразу. Что сзади. Что за спиною этого лысого, бритого. Будто летел, висел вверху, под потолком. Свисала с занебесного потолка махровая, роскошная паутина. Лохмотья, коими был беспомощно укрыт бродяга, вдруг дрогнули, снялись с места, как лодки, что отвязали от причала, и тихо поползли вниз. Матвей испугался, что он весь сейчас обнажится, и станут видны его кровящие язвы, подсохшие струпья. Тогда надо будет его жалеть и любить, а как это сделать, если превыше любви в тебе страх поселился? Его внутренние, страшные глаза видели, как с левой ступни бродяги медленно свалился опорок и оголилась натруженная, сбитая пятка.

Эта голая пятка ножом резанула его по сердцу. По закрытым, слепо плывущим глазам. Глаза косили из-под век, плыли вдаль, уплывали, прошивали скользкими рыбьими тельцами плотную, вязкую и прозрачную толщу, — чего: воды? времени? боли? смерти? — они еще оба живы были, и оба связаны этим чудовищным запахом: так грубо и гадко, а вместе дико и мощно пахнет жизнь, и значит, они оба еще не пережили ее, не переплыли, — не прожили, и она у них сейчас, вот теперь, одна — на двоих.

Матвей, слепой, шагнул ближе к упавшему на колени мужику с обритой головой. Красный халат падал с его плеч. Нет, красный плащ, и невидимый ангел поправлял плащ ему, опять набрасывал на дрожащую, потную спину. Матвей, преодолевая страх пустоты, пошарил в темноте руками, нашарил сначала лысую колючую башку бродяги, ощупал ее, всхлипнул, потом возложил руки ему на плечи, и плечи мужика под его крепкими, твердыми ладонями хирурга затряслись, затанцевали в рыдании.

— Сынок мой!..

Это рот сам вылепил, за него. Он — не хотел.

Лысый-бритый нищий дернулся, будто под током. И опять застыл. Он повернул бритую башку и щекой прижимался к животу Матвея. Нежно, осторожно. Будто боялся грязной головой своей испачкать красные Матвея одежды, струи красного плаща, медленно стекающего с боков и груди. В шерстяном старом плаще зияли дыры. Они вспыхивали, как черные звезды, ткань разлезалась под руками. Нищий смиренно держал руки свои у себя на животе. Его повернутая набок голая колючая голова слабо светилась в полумраке. Свет гас в больших невымытых окнах, а голая башка разгоралась, как нечищенная керосиновая лампа. Лампа такая имелась у Матвеева деда, он иногда чистил ее обшлагом рукава и потом медленно, вдумчиво зажигал ее, подвертывая фитиль, пощелкивая ногтем по выпуклому гигантскому опалу, овалу толстого стекла. Мрак завладел комнатой, а нищий все стоял на коленях, отвернув набок, как гусь, голову, и Матвей все держал ходящие ходуном слепые руки на тощих плечах, с них сползали ветхие гнилые одежонки и никак не могли сползти. Матвей не помнил, когда он брился: вчера, позавчера или неделю назад, а может, не брился уже никогда, потому что ему щеки согревала невесть откуда взявшаяся борода, он косил глазом на серебряные нити, сбегавшие с подбородка на грудь, и с ужасом думал: вот я уже и старик, — а руки глупо торчали вперед, под ладонями плыла и горела гниль чужих отрепьев, оба глазных яблока Матвея вращались под мелко дрожащими веками и вдруг стали падать, слепота на миг раздвинула шторы, и он плохо и мутно увидал — из-под алого его, изношенного плаща торчат его запястья, а они обтянуты красивой богатой тканью, он, оказывается, стоял тут в шальной сорочке, небось из модного бутика, серебряные кружева

умалишенной оторочкой бежали вокруг манжет, с виду гляделись как стальные; он даже подумал: вот торчат мои бедные руки из железных кружев! но это же бабьи кружева, мужики такую дрянь не носят! — а серебристая парча блестела, посверкивала морозной дымкой, сизым инеем, и слепой глаз косил на торчащий деревянным мячом нищий затылок, от затылка шел призрачный свет, и Матвей думал, задыхаясь: вот я все-таки вижу, вижу, не ослеп, спасибо Тебе, Господи.

Нищий внизу, под его дрожащими ладонями, завозился.

— Да... да... Отец!.. прости...

Слепые глаза косили и плыли вдаль и вбок. Слух умирал и возрождался. Из тьмы бежали прибоем светящиеся волны, плескали на ноги, на голую пятку бродяги. Матвей по-прежнему видел все целиком: и снизу, и сверху, и справа, и слева, и со всех сторон. И даже, вот ужас, видел то, что только будет. Испуг, и вместе радость. Так бывает! Он боялся: сейчас это все исчезнет. И бродяга пропадет. Он назвал его сыном. Что ж, спасибо ему за это. Завтра с утра надо пойти в аптеку и купить там феварин. Или реланиум. Сильные психотропные препараты пока жрать не надо. Это всегда успеется. Но психоз надо немедленно снять. Это же чистой воды психоз, Матвей Филиппыч! Ты же понимаешь, клиницист со стажем! Он все понимал, да. Но нищий в отрепьях, вздрагивающий под его руками внизу, притиснувший башку к его животу, понимал больше него. И лучше него. И выше. И чище. И сквозь этот дурнотный, дикий запах — горячее, светлее. До слез.

— Марк?..

Мрак тесно обнял их, и во мраке они оба стояли, застыв: Матвей — в рост, бродяга — на коленях.

— Я, я...

Петлю накинули на шею Матвея, и так душили, и мокрой горечью и огнем, прожигая длинные шрамы на щеках и подбородке, выходили из него, из слепых глаз его все эти одинокие годы.

— Марк, сынок... Как же так... как...

Слух опять улетучился; он не слышал, что испускали в темный воздух его омертвевшие, соленые губы.

Мрак усилился, окна погасли, а потом опять разгорелись; в них загорелся ночной мир, и Матвей не мог достоверно понять, что там за окном — поздняя осень ли, ранняя ли ледяная весна, дрожащая ли зима, колышущая синий лунный маятник от тепели до лютого колотуна, когда вороны и воробьи замертво падают с деревьев, обращаясь в мохнатые кусочки темного колючего льда. У времени теперь не было имени. Его можно было щипать за ягодички, за безвольно висящую руку, за ногу, за нос, бить его кулаком в скулу и в затылок — ему было все равно. Оно прекратило течь и превратилось в бритую лунную голову бродяги. Луна брела-брела по небу долгие века и набрела наконец на Матвея. Уважила его старость. Сочинила ему напоследок глупую шутку про воскресшего сына.

Губы Матвея говорили. Задавали вопрос. Он сам не слышал какой.

Он услышал ответ.

— Вы рано меня похоронили!

Тогда Матвей догадался, что, как он его спросил, коленапоклоненного.

Он спросил его: «Мы тебя похоронили, а ты воскрес?»

Он восстановил из мрака свою старую, подземную боль — и ужаснулся ей.

Бродяга отнял щеку от выпяченного под рубахой, огрузлого живота Матвея. Вот теперь прибуду задрал голову, лицо закинул, чуть выпятил вперед подбородок, опять раздвинул губы в беззубой ухмылке и слезными, влажными, чуть выпуклыми глазами глядел снизу вверх на Матвея. И тут Матвей признал его: рука бродяги вскинулась, и он быстро, мгновенно, будто пытался муху поймать или комара убить, ущипнул се-

бя за нос большим и указательным пальцами. Это был жест из его детства. Милого, смешного. Родного.

Руку нищий опять положил над другую руку, смиренно, как во время церковной службы, лежащую на груди. Правую поверх левой.

«Как на исповеди, и на коленях передо мной стоит».

Матвей тихо пробормотал:

— Ну что же ты... стоишь вот так... Ты... поднимайся...

Нищий теперь смотрел не на него.

Он смотрел поверх его головы. За его плечи.

Во мрак, что клубился за его красным плащом.

А может, это красный плед, траченный молью, свисал с плеч отца.

А сын глядел на тех, кто клубился и дымился за спиной отца, во тьме.

— Батя! За тобой... люди. Я вижу их!

Матвея будто мокрым бельевым жгутом вдоль голого тела хлестнули.

«Он видит их! Значит, они все — есть!»

— Не гляди туда, — прошептал Матвей, — не рассматривай их. Мы давай лучше... помолимся за них...

Бродяга ощерился.

Мелькнули в фонарном тусклом свете из окна его голые десны с редкими зубами.

— Ага, боишься! Что за них молиться? А ты что, верующим стал? Да?

Матвей не снимал рук с плеч нищего.

Нищий бесстрашно смотрел в глаза Матвею.

Его ухмылистые, гадкие губы дрогнули и сморщились. Из глаз по корявому колючему лицу, нет, это не было лицо его милого Марка, это была чужая дикая рожа и скалилась, и язык между зубов отвратно дрожал, полились мелкие быстрые капли.

— Батя! Да ты же над Богом смеялся! У нас же дома ни одной иконы! Ты же доктор! Ты же знаешь...

Матвей стоял недвижно, его сердце, мятное и холодное, напрасно билось ему в ребра.

— Что — знаю?..

— Да что просто все! — беззубо, зло, продолжая смеяться ртом, вышамкнул бродяга. — Откинешь кони — и все! И больше нет тебя! И нет никакого твоего Бога! И ничего нет! Нет и не было!

— Нет и не было, — послушно, как волнистый больничный попугай, повторил Матвей.

Он снял руки с плеч нищего. Надо бы его поднять с пола. Хватит ему на коленях стоять. Как пахнет от него! Запах опять полез Матвею в ноздри, раздирал его изнутри. Он же голоден, черт знает сколько он шел, ничего не ел, побирался, надо быстро его накормить! И напоить. Жажда! Без пищи можно долго терпеть, без воды не продержись и трех дней. Он просунул замерзшие от ужаса руки под мышки нищему. Стал тягать его вверх, поднимать. Тащил, а нищий упирался. Всей тяжестью повисал на его жестких, жилистых руках.

— Вставай... — бормотал Матвей. — Вставай же...

Бродяга тихо, злорадно смеялся. Смешок этот облеплял уши Матвея мелким кусочком, кровавым гнусом.

— Не встану, пока не простишь меня! Ха, ха, ха-ха-ха-ха-ах-ха-ха...

«Простить — значит признать его! Вспомнить! Но ты же уже вспомнил. Как он себя за нос-то цапнул! Марк и Марк вылитый. Жест нельзя подсмотреть. С жестом можно только родиться. И... умереть...»

Матвей дышал тяжело и громко. Уличный фонарь горел у самых ребер, у гулко бьющегося сердца дедовской керосиновой лампой. Он боялся обернуться. Бродяга видит призраков за его спиной. Не хватало еще ему увидеть их!

- Я... прощаю тебя... и...
 «Что-то надо тут такое еще сказать. Что?!»
 — И... принимаю... и никогда...
 «Что я мелю языком. Языком своим, без костей».
 — Никогда... не попрекну тебя... ничем...
 «Да, да, вот так, так. Верно».
 — Ну... что ты из дома ушел... бросил нас...
 «А вот про это не надо. Ему и так больно. Вон слезки текут. Плачет!»
 — Ты вернулся... и... давай...
 «Надо его успокоить. Обласкать. Ты что, ласкать разучился?! За эти годы...»
 — Давай забудем все... что с тобой приключилось... всю твою...
 «Жизнь, договаривай, жизнь».
 — Всю твою... жизнь...

Он выдавил из себя слово «жизнь», и внезапно тяжелое смиренное тело нищего стало легче легкого, стало насмешливым и по-цирковому ловким, он засучил ногами, завозился всем телом, налег грудью на его услужливо просунутые ему под мышки старые руки, хватал ртом воздух, будто тонул, и поднимался — снизу, с пола, из ямы, в которой лежала все эти долгие годы его мысленно погребенная плоть, а душа, вот же она, лезет из глаз, губы ее выдыхают, летит беззубой плохой улыбкой, сияет лысой колючей головой, — и поднялся, и встал, и стоял, качаясь на кривых ногах, одна нога босая, другая в грязном опорке, слишком рядом с Матвеем, слишком близко, лицо в лицо, и Матвей увидел: они одного роста, нищий и старик.

Матвей теперь мог глубоко заглянуть в его глаза, ведь они стояли глаза в глаза. Они были одного роста, и зрачки Матвея нащупали зрачки бродяги и глубоко ввинтились в них, вонзились, едва не вышли наружу, два черных бура, из затылочной кости. Из этих зрачков, и чужих и родных, на Матвея хлынула тьма.

Он этой тьмы, врач, по горло навидался, он уже устал от нее, уже шел мимо нее, проходил, не задерживаясь, опытными, цепкими мыслями охватывая диагноз: обречен, не проживет и трех суток, — или так думал: если полгода протянет, пусть судьбе спасибо скажет, — у этой тьмы было обыденное имя: смерть, — и он так затвердил это имя, заучил наизусть, оно в зубах навязло, и он его выковыривал изо рта, сплевывал, как прилипшую к зубам горькую смолу, — и больные глядели ему вслед, лежащие провожали тоскою и ненавистью, но чаще монашьим, пещерным смирением, сидячие охватывали себя руками, жадно обнимали сами себя, в последнем жару бесстыдно трясясь, тыкаясь глазами в его лицо, как щенки мордами — в теплое брюхо суки: буду жить? буду? нет, ну ты, доктор-всезнайка, скажи, буду или нет?.. — а он уже шел, бежал мимо, надо было быстрее убежать и больше об этой тьме, плещущей в больных глазах, не вспоминать. О смерти. По крайней мере, сегодня. Сегодня надо прийти домой, распахнуть холодильник и вынуть из него осетринку горячего копчения в промасленной бумажечке. И «Брауншвейгскую» колбаску. И баночку красной икры. Настоящей, камчатской. И еще какую-нибудь вкуснятину. И положить на фарфоровую тарелочку острый нож и свежую булку. Нет: скальпель и ком ваты. Бред! Селедочку еще! Селедочки хочу! Доктор, он должен побаловать себя после ужасного рабочего дня. Две операции, одна два часа, другая три часа, тяжелые. В перерыве он курил возле открытого настежь окна. Он, старик, даже научился курить! Расслабляет. Это чтобы спирт разбавленный не пить каждый день. Не пей спиртягу, Матвеюшка, козленочком станешь.

Он сразу, бесповоротно понял: человек тяжело болен и должен умереть.

Диагноз точный поставил, и рентгена не надо.

«Кашель. Хрипы. Одышка. И этот запах, запах, когда выдыхает».

— Что стоим? — беззвучно вылепил губами Матвей. — Давай сядем.

Бродяга пошатнулся.

«Ну да, все верно; слабость, еле на ногах стоит, он и сюда-то, видно, еле приполз».

Матвей осторожно обнял его за плечо. Гнилая ткань разлезалась под рукой, и гнилью пахло, будто оба стояли у отхожей ямы. Он тихо пошел вперед и потащил бродягу за собой. Бродяга послушно перебирал ногами. Они оба подошли к дивану. Пестренькая обивка, дешевая, тускло-голубой фон, по нему разводы ветвей и листьев, под старинный гобелен. Бродяга увидел обивку, и слезы из его маленьких глазенок с припухшими веками полились чаще, смешнее.

«Ага! Помнит. Диван-то старый! Неужели же... тот самый... когда... он сбежал...»

— Сядь ты, ляг, — плел языком кренделя Матвей, — я тебя плодом укрою...

Нищий размашисто сел, продавив диван; пружины оголтело зазвенели. Матвей насильно повалил его на подушки. Когда нищий лег, он задышал тяжелее, и хрипы в груди усилились. Он повернул на подушке голову, надсадно кашлянул, из угла его рта вывалился темный кровавый сгусток и расплзся по атласу наволочки.

«Все верно, отходит легочная ткань вокруг пораженных лимфоузлов».

Матвей стянул с себя красный шерстяной плащ, он и правда оказался поеденным молью плодом, неудобно как, весь в дырах, да штопать он не умеет и никогда не умел, хотя раны вот зашивал, и разрезы, и нагноившиеся швы, и швы потом, после его шитья, заживали вторичным натяжением, и он, рассматривая и щупая шов, радостно сам себе кивал: все, Матвейка, праздник души, чистая работа!

«Здесь не будет никакой чистой работы. Здесь будет только...».

Недодумал. Этот человек при смерти. Еле добрел к нему, дотащился. Сейчас некогда трепаться, отец он ему или не отец, сомневаться, выуживать из его темной толщи золотые рыбки тайны, ахать, охать, молоть языком. Надо быстро поставить чайник. Горячий чай. С лимоном. С коньяком. С медом. Все это, слава богу, дома есть. Пусть лежит под плодом. Как тяжело дышит! Хрипит. Согревающий компресс на область бронхов. Спиртовый. Спирта нет, есть водка. Ничего. Завтра он из больницы и спирт принесет. Хоть флакончик. Старшая сестра нальет. Флакон, это же не канистра, это незаметно.

«Я все вижу, все понимаю. Страшная болезнь. Как он сюда шел? Где жил?»

Нигде. Никогда. Некогда. Обрывал нити мыслей. Не завязывал узлов. Принес еще одеяло из спальни, толстое, овечье, на больного навалил. Подоткнул. Бродяга лежал как в коконе. Куколка, и скоро вылетит бабочка.

Измерил шагами дорогу на кухню. Зажег газ, воду налил, чайник поставил. Пустую сковороду на конфорку швырнул. Кинул на нее казенные котлеты. «Боже, сам я стряпать не могу! Пусть скажет спасибо, что этидохлые котлеты в морозилке завалялись! Пусть... скажет...» Все шипело, пузырилось, огонь работал. Огонь сам все делал, и стараться не надо. Так, на тарелку — румяные котлетки, чуть украсить вялым укропом, картошки вареной нет, зато есть чипсы, а это тоже картошка, вот так положить, веером, красиво. Чай в чашке дымится, плавает золотым мальком лимон. Сахару! Как можно больше. Нужна глюкоза. Коньяку! Столовую ложку? Две? Э, да тут и так мало!

Матвей вылил из бутылки в чашку с чаем весь коньяк. Звенел ложечкой, быстро, истерично. Будто в набат бил на колокольне, на площади.

Масло брызгало со сковороды. Заляпало ему рубаху. Он забыл выключить газ.

Рассерженно, рьяно засучил рукава рубахи, закатал их до локтей.

Бросил рядом с котлетой кусок хлеба. Ухватил чашку и тарелку. Потащил в гостиную.

Сел на стул у изголовья бродяги. Еду и чай растерянно держал в кукольно расставленных руках.

Бродяга спал.

Он спал, чуть приоткрыв беззубый рот, и вокруг него все стоял густой тошнотворный дух, и все так же гладко, масляно светилась, сияла во тьме комнаты бритая башка, он мирно, как ребенок, положил обе руки поверх алого, как густая кровь, старого пледа, сожранного молью, и узоры дыр бежали по шерсти, как арабские письмена, нет, как славянская вязь, буквыцы первопечатной книги, чудом не сожженной в раскол Псалтыри, по ним можно было читать летопись пустоты, ведь все на свете, Матвей это хорошо знал, быстро и бесповоротно становилось пустотою, обманом. Спал, а над обитой поддельным гобеленом спинкою скрипучего дивана, под потолком, с него же свешивалась махровая слепая паутина, за деревянными суставами дверей и их живыми плечами, недвижимыми, как каменная строгая кладка, ходили, гуляли тени тех, кто их знал и любил. Милые их люди. Тела, обращенные в души. Мать этого нищего; его сестрички и братья; его бабка, что когда-то так же, как он сам, убежала из дома; его прадед, что веками стоял за гробовой конторкой, натертой морилкой, великий столпник, — а где конторка? И где люди, и где жизнь?

«Спит. Ну и хорошо. Еще в нем теплится жизнь».

Матвей поставил котлету и чай на журнальный столик близ дивана. Острый запах лимона на миг перебил запах гнили. В груди у бродяги булькало и клочкотало. Он вдыхал воздух порциями: ух-ух-ух, при этом гармошка под ребрами оживала, невидимый гармонист начинал перебирать ее перламутровые, костяные пуговицы, и изнутри, из-под ребер, из кровавых, широко растянутых мехов раздавались сипы, свисты, переборы, сбивчивое влажное бормотание, будто бежал и перекатывался на камнях грязный, бурливый ручей. А когда выдыхал, вместе с густым хрипом из легких вырывался длинный тягучий стон.

Так стонет метель. Ах да, зима. Конечно же, зима. Зима на улице. И зима внутри. Снаружи ли, внутри — о чем горевать?

Восточные, худые темно-коричневые кошки, беззвучно, медленно ступая по пыльному полу тонкими мягкими лапами, вышли из-за шкафа. Их темная, ночная бархатная шерсть мерцала и лоснилась в свете фонарей, в зимнем призрачном свете. Кошки робко подошли к дивану. На диване лежал незнакомец; он по-чужому пах. Кошки застыли, вытянули шеи и осторожно, раздувая черные африканские ноздри, вдыхали новый запах. Та, что покрупнее, брезгливо тряхнула лапой. Та, что помельче и поизящнее, тонко и отрывисто мяукнула. Обе повернулись, подкрались к Матвею, прыгнули ему на колени и стали нюхать воздух вокруг холодной котлеты.

«Кошки, спасители мои. Если бы не вы, я бы сдох давно от тоски. Так же вот коротко крикнул: мяк! — и ноги протянул».

Матвей гладил их, гладил. Во мраке из-под его ладони сыпались искры. Кошки мягко соскочили с его колен, царственно направились куда глаза глядят. Во тьму. В пустыню. «Все на свете есть пустыня, и нам только кажется, что мы живем среди людей».

Бродяга пошевелился под пледом и овечьим одеялом. На голом темени проступили капли пота. Он покатал башку-кеглю по атласной подушке и внятно произнес:

— Жизнь, черта лысого.

«Сам лысый и о лысом говорит».

Матвей сунулся вперед, вытянул руки, снова чуть не ослеп — перед словами, что выкатились из него пятью горячими слезными горошинами:

— Где ты был всю жизнь?

Лысый мужик лежал с закрытыми глазами. Матвей чувствовал: он не спит. Хитрит. Просто глаза прикрыл, а слушает. И слышит. Говорить ему лень. А может, он спит и говорит во сне. Скоро он будет от боли кричать. Это пока такая стадия, они еще не вопят от боли. А вот потом, когда прихватит, он криком тут стены разнесет.

«Как все это будет выглядеть? Он будет тут лежать? Да. Лежать. Здесь. Вот на этом самом диване. А может, лучше в больницу? Да ну ее к черту, больницу. Умирать в боль-

нице! Как это пошло. Все стариков в больницы отвозят, умирать. А тут молодой. Какой он молодой, он же тоже старик, гляди! Нет, врешь, он тебе в сыновья годится. В сыновья? В какие сыновья? В самые настоящие. Ты что, разве не слышал, что он тебе сказал? Отец, сказал он. А, и ты поверил! Как в кино. Такие чудеса бывают только в кино. В пошлом кино. Бабенки вынимают платочки и сморкаются. Но я-то не бабенка ведь. Я врач. И я все вижу. Все? И себя — видишь?»

Себя он не видел. Ни под линзой, ни в мареве улыбки. Ни сквозь белое бешенство заоконной метели. Опять слепой, и, быть может, уже навсегда. Метель вилась и подвывала, и восточные кошки, лежащие рядом за шкафом в матерчатой лодке, плотно, тесно перевитые одним бархатным карим вензелем, наостряли уши — метель выла голодной злой собакой, и даже тут, среди тепла и ласки хозяйской руки, ее надлежало бояться. Не видел ни сердца своего, ни души своей. Ни Бога своего; опять мираж, фантом! Бог! Вот Он, Бог — на диване его, задрал колючую морду, сладко спит, забыв про боль, про нелепый ужас кромешной жизни своей. Да, смерть для него всяко лучше, чем грядущие муки. Муки эти уже слишком близко. Не отвертисься.

«Я принесу ему завтра из больницы все, что нужно. Я сам его буду... лечить... Лечить? Или... длить ему боль его...»

Бродяга опять заворочался, открыл глаза. В глазах его плескалась злоба. Он перекатил глазные шары под веками туда, сюда, белки хищно блеснули гладкими опалами в разводах тонких красных нитей, поплыли под набрякшими веками.

— Батя. Ты не веришь мне. Ну, что это я. Поверь.

Бродяга повернул руку венозным синим ручьем вверх. Матвей уставился, дрожа. Узловатая лиловая жила вилась, текла по искореженной, взбугренной безобразными шрамами коже. То ли сам резал вены, то ли резали его в поганой, пьяной драке. «А какие там у него ребра? Спина? Может, он весь дьявольски покалечен? Ты еще не видел его тела. Боже, как он пахнет! Я буду его мыть. Всего. Всего. И тогда я... узнаю...»

Он вспоминал, с болью, с трудом, какие же у него, мальчишки, на его тощем, шелковом юном теле могли быть единственные опознавательные знаки. Родинки. Шрамы. Пятна. Порезы. Отметины Божьей длани и адского когтя. Да чего угодно! Лишь бы были! Лишь бы вспомнить!

Бродяга медленно задирает рукав, оголяя локоть, синяя жила бежала до самого локтевого сгиба, изуродованная, в синяках, рука вздрагивала под отчаянными зрачками Матвея, и зрачки наконец узрели, ухватили — среди прочих шрамов маячил один, странный, полукруг и полукруг, а оба не сходятся, не получается целого круга, и глубоко в смуглую, исколотую иглой кожу уходят заросшие белой тканью вмятины зубов.

— Отец!.. помнишь?.. да?.. помнишь?.. Меня покусала собака. И ты...

Матвей уже гладил знакомый до боли шрам вздрагивающей ладонью.

— И я... И я... велел тебе делать уколы... сорок уколов...

— Бать... а ты помнишь... как ту собаку звали?..

Из-под прикрытых век Матвея уже густой обжигающей рекой лились слезы, стекали по шее, за воротник рубахи; капали на обнаженную, уродливую руку бродяги.

— Помню... ее звали...

Бродяга поймал воздух вонючим ртом.

— Ее звали... Верка...

— Да, точно... Верка...

Матвей протянул руки по одеялу, вытянул их, так кошки, полусонные, вытягивают лапы, наклонился вперед, глубоко дышал, уже не чувствовал запаха гнили и грязных тряпок, не слышал ужасающих хрипов, с краями наливающих костяную чашу худой груди, и медленно, счастливо положил лысую, со щеткой сивых жалких волос вокруг темени, голову на грудь приبلудному, незнакомому мужику; мужик этот и вправду

был его сын, и теперь никто в целом мире не смог бы его разуверить в этом, он бы просто посмеялся над тем вруном. Он, как собака, лежал головою на медленно, мерно вздымающейся больной груди бродяги, и счастливая улыбка взошла на его лицо и уже оттуда не уходила. На мокрое, все сплошь залитое радостными слезами лицо. Он прекратил дрожать. Он был спокоен и велик. Высок. Абсолютно чист — как медицинский спирт, как хрусталь. Голова его лежала на груди сына, а ему казалось, она парит высоко в черном ночном небе, в звездной гиблой метели. А глаза его ясные сияют. Они сияют под веками, никто не видит сияния. И не надо. Его сердце стало плачущими глазами. И пальцы стали глазами: они ощупывают и видят. Вспоминают. И губы стали глазами: они видят шепотом и поцелуями. И зрячая грудь видит грудь. И радость видит радость. Сынок мой, я так тебя вижу всего. Всего. Но ты не волнуйся. Нелзя тебе сейчас волноваться. Ты отдыхай. Ты...

— Дыши только ровно... и спи. Спи. Тебе надо спать. Отоспаться. Потом поешь. Я разогрею. Ты мой милый, родной. Кровиночка моя. Усни. Надо поспать. Ты долго шел. Пусть тебе сон хороший приснится... светлый. Ни о чем не волнуйся. Ты дома. Ты...

Он прижался всем лицом к отошальной, костистой груди бродяги и целовал ее, покрывал поцелуями ее, грудь единородного сына своего, через все наросты лет, ветров и грязных лоскутов. Руки его, ладони и нервные пальцы, ласкали, будто бегло и порывисто целовали, плечи, запястья, потную шею, виски, уши, щетину на щеках и подбородке. Руки плакали, глаза струились бесконечным светом, слезы текли и стекали пылающим временем, и лицо становилось плывущей свечой, соленый воск то таял, то застывал умалишенными наростами, он сам, весь, бедный человек, был нарост на времени, и зимой он превращался в заметенный снегом могильный холм, и холм оживал и шел на работу, в больницу, и холм напяливал на себя белый метельный халат, да, врач, ты будешь спасать сына своего, вот он к тебе пришел: он воскрес из мертвых, он пропал и появился. Он пришел к тебе потому, что любит тебя. Он сам вспомнил, что любит тебя. Не ты его нашел, он нашелся сам. Он нашелся не потому, что ты его искал. Он нашелся оттого, что он нашел тебя.

Тебя.

Мерно, медно пробили настенные старинные часы в спальне. Барометр с деревянной головой изюбря показывал на «БУРЮ». Матвей вытер мокрое лицо о лохмотья бродяги.

— Сыночек...

Нищий опять спал. В груди у него тихо клокотало. Он закатил глаза под веки, и сивые ресницы дрожали. Мокрое его лицо блестело в совместном свете круглой синей луны и тускло-желтого, рыбьего фонаря за столетним, кривым окном. <...>

* * *

Сын лежал, отец ухаживал за ним.

В больнице уже весь персонал знал: к Матвею Филиппычу вернулся сын, и он смертельно болен. Главный врач предложил: а давайте-ка, дорогой Матвей Филиппыч, сынка-то к нам, в палату! — и получил ледяной надменный ответ: что я, сам сына не выхожу? Главный задумчиво поглядел мимо Матвея, в широкое окно. Ну вы же знаете, дорогой Матвей Филиппыч, знаете... Да, кивнул он, я знаю все и даже более того. Но я верю. Главный усмехнулся. Для веры нужна не только вера, а нужны еще десятки препаратов, каждый из которых стоит сотни тысяч рублей. Он у вас еще не кричит? Еще нет, сказал Матвей, и вышел из кабинета главного, и изо всех сил постарался не хлопнуть дверь.

Не было в мире ничего, что могло бы спасти их обоих.

Принести еще лекарств. Зарядить еще капельницу. Проткнуть еще вену; на локтевых сгибах кубитальные вены уже были все исколоты, он втыкал иглу в худые запястья, в синие жилки на тыльной стороне ладони, однажды воткнул в лодыжку, а сын неуклюже дернул ногой, игла вывалилась из-под повязки, Матвей чертыхался, опять иглу втыкал, руки дрожали, плакал, потом целовал сына в лоб и виски и судорожно, нервно гладил его по впалым щекам. Ты не огорчайся! я же все поправил! нет, лекарство не вытекло! все в порядке! это очень хорошее лекарство, тебе будет лучше! Завтра будет лучше, вот увидишь!

Он покупал на рынке у таджиков и узбеков рыжий урюк и колол абрикосовые косточки старинным молотком. Вынимал ядра и совал в рот сыну: жуй! Сын жевал. Ночью его тошнило и рвало. Сестра-хозяйка в больнице присоветовала ему: пусть пьет соду, один наш больной стаканами пил и поправился, вот ей-богу! Он купил коробку, на ней крупными буквами стояло: «ПИТЬЕВАЯ СОДА», он вскрыл ее и долго глядел на мелкий белый порошок. Развел чайную ложку соды в теплой воде. Отпил глоток. Плюнул в раковину, содрогаясь от отвращения. Дал сыну выпить чашку. Ночью опять его вырвало.

На другое утро отец пошел в церковь и купил там в церковной лавке икону Божьей Матери Казанской. На черном бархате лежали нательные крестики, золотые и серебряные цепочки, образки: Богородица, Николай Угодник, святой Пантелеймон Целитель. Отец купил серебряный крестик, пришел домой и надел на шею сыну.

Бать, это лишнее. Ну зачем ты.

Так надо. Это поможет.

Чему поможет, не смей меня.

Сынок, я сам не знаю чему. Но все носят и молятся. И ты носи и молись.

Бать, да катись оно все к чертям, какие молитвы? Я вырос давно из этих детских штанишек. А ты, бать, видать, их еще и не примерял.

Сын пытался сорвать крест с груди слабыми пальцами, но не сорвал. Оставил.

Отец принес из больницы судно и утку. Выносил за сыном. Глядел, нет ли пролежней. Пролежней пока не наблюдалось. Сын пытался смеяться при виде утки. Чесал себе грудь под рубахой. Отец задирает рубаху и рассматривал его кожу: нет ли чесотки. Нет, просто грязь и пот, мыться пора. Отец носил его в ванну на руках. Сын очень исхудал. Отцу казалось: он, когда домой явился, был потолще. Отец давал сыну обильное питье, чайник то и дело стоял на огне. Чай, сок, минеральная вода, травы. От кашля грудной сбор № 4, лучше всяких иностранных пилюль. Сын грыз абрикосовые косточки и горькие косточки миндаля, да грызть-то нечем — три зуба во рту, и те шатаются. Батя, я ведь курил когда-то. Еще недавно курил. А ты куришь? Как раньше? Нет, сынок, я уже стар курить. Иногда засмолю, после операции. А, ты все-таки оперируешь? Редко. А меня, бать, можно прооперировать? Ну, легкое мне, к примеру, вырезать к едрене-фене?

Отец думал секунду.

Нет, сыночек. Нельзя.

Вот даже так? Ну я понял. Кранты мне.

Ты лежи спокойно. Я чайник выключу.

Отец выключил на кухне тонко, пронзительно поющий ржавым свистком обгорелый чайник, прикрыл глаза рукой и трясся у черного ночного окна, глотая слезы. Фонари били в окно копьями лучей. Алмазные наверхия разбивали стекло, оно затягивалось трещинами, как инеем. Отец вытирал ладонями мокрое лицо и выходил к сыну, улыбаясь. Сынок, а на ужин у нас сегодня тушеный кролик! Батя, я не буду есть кролика. Мне его жалко.

Кто это сказал, взрослый мужик? Или ребенок, весело сидящий на детском деревянном стульчике, и размахивает вилкой в крепко сжатом кулаке? Он проткнет себе вилкой глаз, осторожней! Выньте у него из руки вилку, отберите!

Вилка лежала на столике. Рядом с салфетками. Сын вертел в руках серебряный крестик. Рассматривал, как сушеную стрекозу.

За окном плясала вьюга. Матвей слушал хрипы сына. Он слушал их как музыку. Сын еще жив, и отец еще жив. Они оба живы, и это уже счастье.

Отец присел на край дивана. Диван сedito скрипнул. Простыня сползла, обнажив зеленое озеро смешного гобелена, ветки сплетались, деревья клонились, по веселому небу неслись пухлые сдобные облака. Рука больного бездвижно лежала поверх одеяла. Восточные кошки, свернувшись в черные шелковые клубки, спали у Марка в ногах. Отец положил руку на руку сына и тихо-тихо попросил:

— Сынок. Расскажи мне о себе.

Сын разлепил ссохшийся рот.

— О себе? А разве...

Отец понял, он хотел спросить: а разве все, что было со мной, правда?

— О своей жизни. Ну, как ты жил.

Сын облизнул губы. Отец глядел на его жесткий, как наждак, бледный язык.

— Бать. А разве я жил?

— Ну, жил, конечно. И теперь живешь!

— А когда помру? Молчишь?

— Ну, не хочешь — не рассказывай.

Отец хотел встать с дивана. Услышал за собой хрип:

— Черт с тобой, батя. Слушай. Расскажу я тебе. Только обещаю...

Матвей повернулся к сыну. Губы его стыдно дрожали.

— Что?

— Что ни разу меня не прервешь. И реветь, как баба, не будешь.

— Обещаю.

Матвей ссутулился. Взял руку сына в обе руки.

Погрел его руку дыханием, будто сын шел долго по морозу, и вот пришел в тепло, и замерз, и дрожал, и он хотел ему своим теплом его ледяную, железную руку отогреть.

Одна черная кошка на миг проснулась, вытянула по одеялу тонкие бархатные лапы. Потянулась. Коротко муркнув, уснула опять.

Сын набрал в грудь воздуху. Хрипы усилились.

Он стал рассказывать.

Рассказ сына был страшен.

Отец видел себя в сыне, как в кривом ужасающем зеркале.

Но кривое это, ледяное зеркало бесстрашно отражало погибшую правду.

Правду — и время.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАССКАЗ БЛУДНОГО СЫНА

Я хорошей жизни хотел. Нет, батя! неправильно я сказал. Не хорошей, а — роскошной. На вокзал сперва пешком пошел. Потом думаю: что это я, как нищий! Тачку тормознул. Богатую. Водила на меня косит, с таким презрением. Я его мысли читаю: пацан, килька в томате, ты ж за десять метров дороги не сможешь зачистоганить! Я ему говорю: на вокзал гони. У вокзала встал, смеется уже в открытую, ждет. Я вытаскиваю

деньги из-за пазухи, пачку. И отслонявливаю водиле черт знает сколько. У него шары вывалились. Я дверью сильно хлопнул. Бать, я деньги у тебя украл. Я шел и шептал себе под нос: я вор, вор. Это звучало как «герой». Я впервые в жизни у отца украл. И это оказалось так классно. Наслаждение! Безнаказанное! Мне за это никто пощечину не даст, к стенке не поставит! Вокруг меня люди крутятся. А я — столб карусели. Вокруг меня все кони бегут, и ослики, и козочки, и яркие шары, и девчонки и мальчишки на лошадаках сидят, в трубы дудят. Ду-ду! Громко продудели! Мою жизнь продудели! Да, все эти люди. Все поезда эти. Я оглянулся туда, сюда, к кассе подошел. Деньги из кармана вынул, они потные. Я их крепко в кулаке зажал. Жалко отдавать. Руку все равно в окошко просунул. И сам нагнулся. Кричу: мне билет один! до Москвы! Москва казалась огромным пряником. Град-пряник. Откусить хоть кусочек. Про себя я думал: ну я-то уж не кусок, от меня-то уж не откусят. Кассирша мне орет из-за стекла: вам на ближайший?! Я ей ору: да! на ближайший! Она мне: а он отходит через десять минут, успеете?! Я ору весело: успею! я быстро бегу! Кассирша выписала мне билет и дала сдачу. Я стоял и глядел на деньги на ладони. Бумажки и кругляши, серебряные, медные. Денег стало меньше. И жизни — меньше. Я побежал на перрон, мой поезд отходил уже, медленно так от перрона отчаливал, я впрыгнул в вагон на ходу. Отдувался. Пот лил с меня. Проводник долго изучал мой билет, чуть на зуб не пробовал. Я устал ждать, когда он мне билет обратно отдаст, и бросил ему сквозь зубы: ну, ты! давай кончай изучать бумажку, не докторская ведь диссертация! Он ткнул мне билет в пальцы и тоже сквозь зубы процедил: щенок, куда едешь, ты, рожа воровская!

Он как чувствовал, тот проводник, что я вором стану, — мятая пилотка, грязная рубашка клетчатая, форменный пиджачишко на тощие плечи накинута. От рожи у него табаком пахло: курильщик. Ну очень тощий. И кашлял надсадно. Вот как я сейчас.

Я несколько не жалел больных. Болееешь? ну и болей. И вообще я не жалел никого, кто страдал и, в особенности, кто жаловался. На жалость бьешь? — а не хочешь, я тебя тоже побью? Словами, да. Или просто от души по морде дам. И тогда иди жалься кому другому. Юный был, жестокий. Нет, бать, я и сейчас жестокий. Еще больше жестокий, чем прежде. Просто я видел жизнь с разных сторон. Со всех, наверное, сторон я ее видел. Мне повезло. А тому, кто плачется, не повезло. Он увидел только ее пыточные орудия: дыбы, клещи, топоры, испанские там сапоги всякие. А я еще кое-что у нее видел. Потом, бать. До всего еще дойдем.

Поезд ехал себе, у меня щеки горели. В зеркале в вонючем туалете я глядел на свою румяную рожу. Кудлатый, лохматый, красный как рак, веселый, столица нашей Родины скоро-скоро, — эх, гуляй не хочу! Живи! А как я хотел жить? Я и сам не знал. Ноль мыслей в башке. Нет, что-то такое, роскошное, я себе воображал, конечно. Ну, комнату найду, сниму. Телефонную книжку в киоске куплю. Буду по телефону звонить туда, сюда, в разные крутые места. На работу устраюсь? нет! зачем мне работа! Можно прекрасно жить и без работы. Да! прекрасно!

Я не размышлял особо, какой это способ — превосходно жить без работы. Я знал.

Я знал: я буду вором. Так захотел.

Вор — это тот, кто отнимает у другого сначала его вещи, потом его мысли, потом... его жизнь, это понятно, сейчас мне понятно, но тогда я об этом еще пугался думать. Гнал от себя эту мысль, о чужой жизни. Я хотел сначала немножко пожить — своей. А моя — она какая? Немножко денег в кармане куртки, напротив сердца, и ветер в голове! Метель, пурга! Поезд подгрел к Москве, и золотая осенняя метель, из листьев, что по ветру неслись, сменилась белой. Первый снег, мать его! Я таращился в окно. Эх ты, какие огромные дома! Я никогда таких не видал. Я сидел на вагонной полке, открыв рот. Поезд шел между домами, как корабль во фьорде. Дядька, попутчик, зло сказал мне: «Закрой пасть, парень, муха влетит».

Вышел. Давлю ногами перрон. Следы мои на снегу. Черные утюги! Вспомнил, как ограбил магазин с дружками. Дружки в тюряге. А я на свободе. Значит, я умнее! Да знаю, знаю, бать, ты заблажишь сейчас: это я, я тебя выкупил! Ну, выкупил, ну, так захотел. Сыночка спасти. Это твое личное дело. Что, скажешь, сам бы я не вывернулся? Вывернулся. Я — скользкий. Я уж, угорь. Иду вперед, плыву, угорь. Толпа вокруг. Толпа везде одинакова. Подошел к вокзалу. На нем объявления ветер рвет. «СДАМ КВАРТИРУ», «СДАМ КОМНАТУ НА НОЧЬ», «СДАЮ ЖИЛЬЕ НА СУТКИ, ПЛАТИТЬ ЗАРАНЕЕ», ну и все такое. Я несколько адресочков оторвал. Пригодятся. Вошел в здание вокзала. Это Курский вокзал был, на Курсняк мой поезд приплюхал. Вошел — и застыл. Страшную картинку вижу, бать. На полу бродяги вповалку лежат. Кто спит, кто ворочается. Воняет от них! И все, как монахи, в черном. Будто по команде в черную одежду нарядились. Или она от грязи черной стала? Спят. А один среди спящих — сидит. И что-то в руках перебирает. Будто четки. Я издали не видел. Ближе подошел — гляжу: это баба, как мужик, в штанах, и она вяжет. Крючком вяжет черный берет. Вдруг ноги у меня ослабли. Я жрать сильно хотел. А баба от вязанья глаза поднимает и — в меня их вонзает. Как два крючка. Молчим, и она и я. У нее щеки ввалились и глаза голодные. Я ей говорю, на автопилоте: «Мать, я щас в буфет схожу, пожрать куплю!» Она мне: «Бреши больше!» Я пошел в буфет, купил сосиски в тесте, по карманам рассовал, купил два бумажных стакана горячего черного кофе. Несу кофе этой бомжихе, он дымит. Или оно? Пес с ним. Ставлю бумажный стакан на гранитные плиты, рядом с теткой. Она растерянно вязанье положила на колени, и я сосиску в тесте ей прямо в этот ее дрянной черный берет, на колени, как в миску, кладу. Бросаю небрежно: жри, бабка! И сам рядом с ней на корточках сажусь, кофе отхлебываю, язык обжигаю. Бать, ну до сих пор помню вкус сосиски этой в тесте, тесто чуть подсохло, а сосисочка отменная. Сочная. А баба, в растерянности, как-то неловко локтем двинет — стакашек бумажный набор — бульк, и кофе как выльется да под спящего рядом бродягу как потечет! Обожгло ему бок. Он дернулся, привскочил и как заорет на весь вокзал: ты! туда и сюда тебя так-перетак! Жужелица! Меня облила! Так у меня щас ожог третьей степени на пузе! Ответишь! мазь мне в аптеке купишь и пластырь, растуды тебя! А тетка в это время берет сосиску и ест. Глядя на меня. И я ем. И мы оба жадно жрем эти сосиски дерьмовые. И смеемся. И вдруг меня сон сморил. Я сам не помнил, как я на полу этом оказался гранитном, на этих вокзальных плитах холодных, и руки себе под щеку подкладываю, и уже соплю, храплю. Сквозь сон еще помнил: тетка ко мне наклоняется и что-то мягкое мне под голову подсовывает. Этот ее черный берет шерстяной. Неоконченное вязанье. Вместо подушки.

Провалился в сон, в ночь. Вдруг среди ночи — меня по плечу — бац! И еще раз, по голове — бац! И по спине — бац! бац! Очень больно. Жуть! Я продрал глаза, а вскочить не могу, меня бьют и бьют. Тот, кто надо мной стоит, хорошо размахивается и крепко бьет. Я рассмотрел: дубинкой милицейской. Резиновой. От души лупит! Я ору. Кровь по лицу льется. Пытаюсь в сторону откатиться. А тот, кто надо мной, за мной идет. Я качусь — а он идет и лупит! И лупит! Рожа уже вся расквашена. Э, да их тут много! Ментов! И все в черном! Униформы новые, как у фашистов! И все бродяг бьют! Бродяги кричат, руки вперед выставляют, руками защищаются. Бесполезно. У одного бомжа с носа сбились очки, стекла разбились, вся будка в крови, он орет: «Ах вы, стервецы, ах вот ваша вся демократия вшивая!» Я ищу глазами тетку мою. Нашел. Уж лучше бы не находил. Ее за шиворот мент волокет. Доволок до барной стойки, хорошенько размахнулся — и дубинкой — с размаху — поперек лица загвоздил. Она как упадет навзничь. А у нее из-за пазухи вдруг — зверь вылезает! Маленький такой зверек! Белая мышка. Или крыска, не знаю. И зверек жалобно пищит, и он весь в крови. А баба замертво валяется. Черный мент ее бьет под ребра сапогом и выдыхает, как пьяный: «Развелось тут дряни!

Вставай! Вставай!» Мышка белая ему под сапог сунулась. Он сапогом на нее наступил и придавил. Я впервые видел, как при мне убивали животное. Кровавая лепешка на граните. Она только пискнула, когда ее давили. И тетка лежит. У меня в ушах вдруг, бать, птички запели. Зазвенели, крохотные, колибри, соловушки. Зачирикали. Я даже боль ощущать перестал. Лежу, как мертвый. Глаза закрыл. Черный поганец перестал меня бить. Я приоткрыл глаз. Черный всматривался в меня. Потом пнул, не сильно, а слегка: ты, мол, откуда тут затесался? Одежка на тебе клевая. К бомжам зачем прибился? Что, не чувствуешь, как воняют? Или у тебя тут кто родственник? Я медленно сел. Вокруг меня ворочались, стонали избитые среди ночи бомжи. Я глядел на застывшую под вокзальными лампами бабу. Лежала не шевелясь. И рядом с ней раздавленная ее мышка. Я сказал менту: вот она моя родня. Тетка моя родная. У нас дом снесли, для новостройки, я к бате жить поехал, а она вот бродяжить пошла. А ты зачем нас бьешь? Чем мы тебе не угодили?

Черный уже не слушал меня. Он уходил, утекал вместе с другими черными. Они вразвалочку шли по Курскому вокзалу, ноги кривые, дубинки от крови тряпками вытирали. Может, носовыми платками. Я не разглядел.

Бать, мне потом эта мышка раздавленная ой как долго снилась. Только засну — зверек приходит. Живой, и мордочка остренькая, и весь беленький, будто снеговой, и рядом садится. И лапками мордочку умывает, а глаз — черная бусинка. Я бы такую мышку себе завел. Зачем ты мне слезы вытираешь? Брось! может, я поплакать хочу. Носом пошмыгать.

Они ушли. Я встал. Гранитные плиты в крови, в табаке, что просыпался из рваных сигарет. И этот черный берет. Недовязанный. Я его с пола поднимаю. И на голову напяливаю. Вот, думаю, первый снег на улице, а я из дома отлично убежал, без никакой теплой шапки, и в одной куртяшке задохлой, и кроссовочки не для зимы. Ничего, шептал я себе зло, вот настоящим вором стану и все самое лучшее себе куплю.

Вор, бать, вор. Сколько романтики! Москва раскрывалась, как черный веер, и на нем — приклеенные блестки ночных фонарей. И глаза девок блестят. Ночью по Москве тогда много девок шаталось. Они все различались, кто что умел. Табель о рангах. Привокзальные. Эти давали даже на рельсах. Машинные: ну, кто около шоферов трется. Банные, это понятно, где промышляют. Когда шел мимо саун, часто встречал таких. Они и зимой, в морозы, перед сауной топчутся в лисьих шубенках чуть ниже жопки, в телячьих сапожках, в сетчатых колготках, — мерзни-мерзни, волчий хвост. Те, что снуют в толпе: их в толпе сразу видать — ярче всех накрашены, и опять же в любой мороз без шапки, волосы замысловато уложены и все на виду. И серьги люто сверкают. Гостиничные около отелей тусуются. В кучки сбиваются. У дверей топчутся, к иностранцам ластятся. Возьми нас, возьми, от нас откуси! Еще частенько, столичными безумными ночами, видал я таких: рожи не первой свежести, и потрепанные, и даже уже откровенно старые, но вот он тебе грим, умелая краска, и за молодуху во мраке сойдешь, — они расхаживали у обычных домов, и сами типовые, банально так одеты, а это всего лишь означает, что в этой хрущевке подпольный бордель, и это рыбачки Сони как-то в мае перед своим офисом слоняются, гуляют. Ловят. Вор ловит одно, шалава — другое. А я что ловил тогда в Москве? Судьбу свою ловил. Подворотни! Мое время пошло, новое. Застучали часики, побежал отсчет. Мне будто голос с небес был: лови момент, другого не будет. И терпи все, что тебе под ноги на дороге упадет. Поднимай! К сердцу прижимай! Даже если это граната-лимонка и сорвана чека!

Так вот с шалавами этими я отчего-то быстро общий язык находил. Чем это я им так приглянулся? Ума не приложу. А вот поди ж ты. Иные как меня завидят, так хохочут, ладошку к губам крашеным прижимают, и ладошка вся пачкается в помаде. Я себя оглядываю: смешной я такой, что ли? Другие пальцем подзывают меня к себе. Одна,

волосы иссиня-черные, на крупную вороную кобылу похожа, так подозвала меня, вынимает из кармана яблоко и мне дает. Яблоко, бать, ты такого никогда не видел. И я тоже. Это не яблоко, а целая тыква. Такое большое. Я яблоко беру обеими руками, прижимаю к животу. А ее товарки, этой, чернявой, вокруг нас кругом стоят, пальцами тыкают и вопят: «Ева, Ева!» Ева, мать ее. Так звали ее, я понял. Яблоко я сожрал. А чернявую под локоть подхватил дядька, круглый как шар, из шара палочки торчат: две ножки и две ручки. И повел, и она шла и не упиралась. Шла на работу свою.

Я догадался: шлюшкам я маленьким казался. Ну, пацаненком. Худенький, глаза большие. Обманчивое впечатление. Я был взрослый, хитрый и умелый. И ни жалеть, ни ласкать меня не надо было. Я хотел на первые большие украденные деньги купить себе большой хороший пистолет. Потому что я тогда уже знал: отстреливаться придется.

Да, подворотни. Я с вокзала начал и подворотнями продолжил. Почему? А очень просто. Я хотел грабить, а ограбили меня. Пока я на вокзале том дрых на холодном граните, у меня из куртяшки, из кармана напротив сердца, все, бать, твои деньги, что я у тебя слямзил, и вытащили. Кто? Может, тетка та, с мышкой? Не думаю. Тетка эта, в портках мужских, была, я это чувствовал, честной. Ну, может, где со столов в буфете и тащила недоодеженный крендель. А впрочем, зачем ручаться! Никто не знает, на что он способен. Я вот знал точно. Я хотел красть, а после жить хорошо, сладко.

Страну, бать, ты ту помнишь. Не помнишь, так напомним! Страна вся была одна сплошная огромная подворотня. И в нее не ходи. Заловят, руки за спину заломят, по карманам пошарят, и скажи спасибо, что по затылку камнем не дадут. Иду по Москве. Красивый городишко, черт! Небоскребы, стекло, бетон, а тут колонны с лепниной, а тут решетки чугунные, кружевные. И церкви, церкви. Вон как боженку любят, купола аж до слепоты начистили! Новые храмы наспех строили. Я эти новоделы не любил. Уж лучше старина. Однажды я в церковь забрел, прихожанином прикинулся удачно, потихоньку к иконе одной маленькой подгрел и, пока поп гундосил, а певчие пели, среди теплой толпы и кучи огней незаметно смог ее со стены снять. А скрытых камер тогда в церквях не понатыкали. Я иконку под куртку — вжик! — и пячусь, пячусь. Вот я уже у двери. И надо же, старухе на ногу со всей силы наступил. На больную. Она как взвонит! И блажит на всю церковь: «Отдавил, отдавил! Ножечка, ножечка моя!» Все на нас стали оглядываться. И вижу, сквозь толпу эту умоленную мент пробирается, в форме, все честь по чести, прямо ко мне. То ли он тут молился, то ли это у них такая охрана маячила. А тут, как назло, у меня икона из-за пазухи выпала! Я ее подхватил и опять за пазуху, да все уже всё увидели. Заорали как резаные! Я повернулся и бежать. Он за мной. Я деру дал как следует! Выбежали из храма. Я бегу впереди, он следом и свистит в свисток. Подворотня! Я в нее. И между домов сную, и пригибаюсь, думаю, как бы не стал ментяра стрелять! Подворотня, счастье мое, вот и ты на доброе дело сгодилась! Убежал я тогда. Унесся! Только и слышал за собой свисток. Свисти, мент поганый, все деньги высвистишь!

А иконку ту я дорого тогда загнал. В одном антикварном салоне, не в центре, нет, на окраине. Антиквар долго вертел икону, мял ее медный оклад, как старый драп. Щелкал ногтем по грязным рубинам, по гладким зернам опалов, в них красные огни перекатывались, по мелкому просу речного жемчуга. «Сколько ты хочешь?» — спрашивает, исподлобья глядит из-под совиных очков. И глаза выпуклые, птичьи; еврей, должно быть. Я говорю сколько. Цену я заломил, это да. Но это потому, что я никаких цен не знал. Брякнул наудачу. Антиквар пучеглазый головой покачал, как маятник: туда-сюда, туда-сюда. «А ху-ху не хо-хо? Губа не дура. Но ты ее, мой мальчик, раскатал!» Я пожал плечами и цапнул иконку со стола. За пазуху засунул и шагнул прочь. Человек-птица схватил меня за полу куртки. «Ну, ну. Не кипятись. Думаю, сговоримся». И мы сговорились.

Я был впервые в жизни богатый, бать. Жутко богатый! Конечно, сейчас вспомнить про эти иконные деньги смешно. После всего, кем я был и чего навидался. Но тогда! За пазухой вместо краденой иконы у меня лежали в конверте новенькие хрустящие бумажонки. Я жмурился, как кот. Гуляй, рванина! Для начала я зашел в модный бутик, долго оглядывал полки, долго шастал меж вешалок и примерял всякую всячину, зырил на себя, красавца, в примерочной в большие, до потолка, зеркала, а на меня подозрительно косились продавщицы, а я делал им глазки и губки складывал, как они, сердечком, дразнил их. Девчонки фыркали и поворачивались ко мне спиной, задика обтянуты короткими юбочками, такие дивные задика, крепкие орешки. Они ждали, что я у них вот-вот что-то куплю. Я ничего у них не купил. Надул я их! Пошел в магазинишко дурацкий рядом, в обычный, и там приоделся. Я решил не сорить деньгами. Москва есть Москва! В ней надо иметь за пазухой на черный день. А потом, надо же жить где-то, снимать комнату, а еще лучше, пусть это и другие бабки, хату снимать, в хате твори что хочешь, догляда за собой нет, ты не представляешь, бать, как я нажился дома, под надзором неусыпным, туда нельзя, сюда нельзя, это полезно, это вредно, руки по швам, а где был, а ну дыхни, а ну кивни, а ну пырни! Вот свобода. Она и правда сладкая! Сладше меда! Вино, пей и пьяней!

А вокруг шумела, вспыхивала и шуршала ценными бумагами, а может, предсмертными прощальными письмами бешеная девка Москва, старая шалава, накрутилась густо, а штукатурка сыплется, и себя за молодуху выдает, дорого продает, да ей никто не верит! Около станций метро, круглых каменных жерновов, стояли бабы с вещами в руках. Вещи разномастные: шапки, сардельки, мыло, духи, шампунь, булки, старые бусы, и вертят на красных на морозе пальцах, кто с пишущей машинкой в мешке топчется, мерзнет, кто с перепелиными яйцами в изящных коробочках, кто брововым воротником, со старой шубы срезанным, трясет: купите! купите! ах ты черт, бать, как ты пел раньше: купите фиалки, букетик душистый! Морозец знатный, ну, я и решил, я ж при деньгах, себе норковую шапку купить. И купил! Нашел! Отличная шапка, и мне как раз. Совсем чуть-чуть ношенная. И просто за копейки! Бабенка мне кланялась вслед, будто я был царь Горох. Я в шапке иду. На Москву гляжу! Будто лечу над ней и сверху вниз на Кремль смотрю и на ее Красную площадь! Шарф у меня через плечо, ярко-красный, цвета крови! Смешливо думаю: на Лобном месте в крови, брат, выпачкался! И что ты думаешь? Сдернули с меня в подворотне эту шапку. Когда я к себе домой, в комнатенку свою, по снегу плыл! Каморку я у самой Красной площади и снимал. Тоже за копейку! Дом на слом. В том доме жили дворники, бедные актеры, нищие художники и пара бомжей. И я. И туда, в старый, как белый школьный скелет, дом этот надо было опять подворотней идти. Напали! Подножку сунули. На снег повалили! Избили. Деньги выгребли! Шапку сорвали! С моей буйной... головы...

Опять я без денег и опять бедняк — ну как это переварить? А?

И, главное, как из этого выкарабкаться?

Тут волей-неволей воров станешь. Обретешь все воровские ухватки.

А вся Москва, да и страна вся стала воровской малиной. Жестко говорю, да? Это я еще слишком мягко. Вся страна стала одной огромной подворотней, ни конца ни краю. И всех, кто мимо этих чугунных ворот бежит, грабят: р-раз — из-под арки — рванутся, мешком накроют — цоп тебя, и обчистили! Ободрали как липку! Оглянуться ты не успел. И хорошо еще, если под зад ногой поддали, бежишь, не оглянешься. Скажи спасибо, не убили! Жизнь! Все в жизни приспособляются. Не приспособишься — не выживешь! Не поваляешь — не поешь! Приспособление, бать, это такая беспощадная штука. Как воровство. Раз своруешь, потом не удержишься, тыришь. Раз приспособишься, подлижешься, приклеишься — и напешься, и обогреешься, и выживешь, — потом уже без этого подхалимажа жить не сможешь. В крови он уже течет! Вот ска-

жи, что мне делать было? Я нищий. Гольный абсолютно. Все мечты о богатстве разбились, как хрустальный, ешки-тришки, бокал. Из комнаты выперли. На вокзале ночевать? Домой вернуться? Домой, батя, да ты не смотри так. Не нужен мне уже тогда дом был, и ты не нужен был, и мешанская эта житуха не нужна. Советские вы люди все равно. Краснофлажные. Старые книжки вы, и страницы жук поел. Старые трусливые ежи. А тут иное время настало. Злое, да! Но яркое. Ослепительное.

Иду вечерочком одним по Тверской. Везде надписи на Тверской на магазинах и ресторанах уже английские. «ПИЦЦА ХАТ» — читаю. А слюнки текут! Не для меня. Не для меня Дон разольется, не для меня, не для меня. Из ресторанов сытые люди выходят, на иностранных языках лопочут. У меня с английским всегда было плохо. Я не умел ни цокать, ни шепелявить. Ни катать гласные во рту, как леденцы. А интересно, о чем говорят. Ни черта не понимаю. Встал рядом. Тихо так стою. Мужик такой, веселый, кудреватый, дамочку под ручку держит. Бабенка ничего. В соку. Мужик староватый, но ничего, сойдет. Видать, сговорились. А я тут воздух ушами стригу, зачем? Хотел уже плюнуть и отойти, пока меня не турнули, и тут к бабеночке подкатывается хмырь и шурится на рекламу. Наш, русский хмырь. Ну, думаю, ясен пень, сутенер. А дамочка — валютница. И тут этот хмырь ей такое говорит — у меня уши на затылок сами двинулись. «Дашка, — говорит, — я еще двух стариков обработал, и еще четверых Ванька Луков привез, короче, у нас сегодня три хаты наших, да одна проблема, забиральщика нам надо! У тебя, Дашк, на примете никого нет? Мы отлично будем башлять! Чувак не обидится!» Дамочка, Дашка эта, не отбирая руки своей у иностранца, наклоняется к этому хмырю, шурится и цедит: «Может, и есть, а сколько платить-то станешь?» Хмырь рот открыл. И изо рта у него вылетела такая цифра — закачаешься. Я и закачался. Улица Тверская, вечер, холод, фонари. Бабы носы в шарфы кутают. Лохматый иностранец кудерьками трясет. А хмырь неотрывно на Дашку смотрит. Я, под фонарями, в свете жутких красных реклам, будто на меня кровь чья-то льется, шагнул вперед из тьмы и проблеял: «Ребята, тишина в студии, я буду вашим, этим, как его, забиральщиком».

Они, все трое, на меня уставились. Прохожие идут мимо, реклама горит в высоте, струит красную ледяную кровь. Я стою с чувством собственного достоинства, не дергаюсь, не шустрю. Ну я же не сявка! Не жалкий фраер какой-нибудь! Жду. Хмырь меня от затылка до пяток обсмотрел. Будто на мне, как на рояле, грязными пальцами все клавиши перебрал. И послушал, как звучу. Звук мой ему понравился. Он улыбнулся. И Дашка эта разулыбалась. А чужеземец стоит, башкой кудрявой встряхивает и даме все бормочет: «Летс гоу, летс гоу!» Ну эту хрень даже я понял. Пойдем, пойдем! И за руку ее тянет. Она вынула из кармана костюма маленький перламутровый веер и этим веерочком иноземного мужика по рукаву ударила. И по-русски сказала: «Отстань, пожди!» И к нам повернулась. Хмырь опять улыбался. «А ты не боишься?» Я хоть и тощий с виду, а парень не промах. «А ты-то сам не боишься? А то за угол зайдем, и...» — «Что „и“, ствол вытащишь?» — «И вытащу», — сказал я и засунул руку в карман, вроде как там волюну ощупываю. Хмырь подмигнул дамочке. «Смелый парень!» Дашка эта зубы в улыбке оскалила. «Я смелых люблю». — «Но, но! — вскинулся хмырь. — А меня? Я еще какой смелый!» Иностранец покорно ждал в сторонке. Он ни черта не понимал по-нашему, я видел.

«Давай работай, — подмигнул Дашке хмырь, — а мы с парнем пойдем перетрем все дела». Дашка под ручку с иностранцем усвистала, а мы с хмырем пошли перетирать дела.

Ночь опустилась. Черный платок валяется на Москве, на всех ее башнях, шпилях, крышах и трубах. На куполах. Дома горят, круглыми софитами подсвечены. Мне часто эта ночь снилась, ночь и Москва, Замоскворецкий мост, желтый, как сотовый мед,

Манеж, красные зубчатые стены, река черная, в диких огнях, масляная, огромные купола, размером с подлодку, и эти звезды кровавые, кровь в них мерцает и медленно перетекает, можно видеть кровь света как на рентгене. И все здания алмазными гирляндами облеплены. Как елки. Елки-палки, короче! Вот по такой ночке мы с хмырем и идем. Он мне: «Давай знакомиться! Митя Микиткин». Я буркнул: «Марк я». — «Марк, а дальше?» — «По батюшке тебе?» — обозлился я. Митя прищелкнул пальцами. «Дерзкий! Люблю! Наш человек!» Я недолго думал. «Не наш, не ваш и никогда ничьим не буду». Митя скорчил рожу. «А зачем же тогда со мной поперся? А может, я тебя сейчас куда заведу...» Я уже смеялся. «И что, заведешь, на столе разложишь и выпотрошишь?» Он тоже смеялся. «Заведу, руки свяжу, на столе разложу и поймею! Власть!»

Время, скажешь, такое было, бать? Извращения всякие? Бать, кончай. Пороки были всегда. И будут всегда. Их человек с себя не стряхнет, не выведет их на себе, как вшей.

Долго ехали на метро. Приехали. Станция «Перово», жить там х...о; станция «Новогиреево», жить там еще х...й. Вылезли. В автобус сели. Ехали-ехали-ехали. Шли-шли-шли. И пришли. В чистом поле, на пустыре, стоит домик-крошечка, в три окошечка. Длинный такой, будто конюшня. Или свиноферма. И вроде бы пахнет свиньями. А может, навозом. Я нос ворочу. Митя меня, как даму, под локоть по грязюке ведет. Ворота ногой толкнул. На крыльце мнемся. В дверь постучал условным стуком. Дверь нам открыли. В коридоре темень. Из темноты два глаза, как два карманных фонаря. Как у совы! И веками хлопают. Мультик, короче. Я, как дурак, кланяюсь. Митя опять берет меня за локоть, только уже крепко, не вырвешься. И бросает этим совиным желтым глазам: «Нашего человека привез. Забиральщика. Неопытный? Всему обучим».

Так, батя, я стал забиральщиком. Что тарашисься? Слово плохое? Не хуже и не лучше всех остальных. Я забирал из столичных квартир стариков и привозил их сюда. В дом престарелых. Митя Микиткин называл его пышно: дом милосердия. Там такое милосердие творилось! Погоди, до милосердия еще дойдем. Какие старики сами подписывали документы. Какие — под нажимом. Какие швыряли бумагу в лицо нашим агентам, и агенты пятились и проваливали, а на другой день у подъезда тормозила машина, и из нее выскакивали мы. Забиральщики. Звонили в дверь. «И хто та-а-а-м?» — «Слесаря. Плановая проверка канализации!» Дедушки, а в особенно бабушки страх как боялись, если канализацию прорвет. «Ща-а-а-ас!» Долго кряхтел ключ в замке. Бабка или там дедка открывали дверь. Воняло черт-те чем. У кого горелым печеньем, у кого мочой. Мы врвались. Хватали старика, старуху за жабры. Совали в рот кляп. Аккуратный такой, резиновый. На детскую клизмочку похож. Укутывали в шаль. Чтобы лицо закрыть. Ножки свяжем, ручки свяжем. И — на носилки. И — несем, будто в «скорую помощь»; а мы-то в белых халатах, как медбратья, все честь по чести. Не подкапашся. Да никто и не подкапывался.

Старикан уже в машине. На сиденье сажаем, у него зенки из орбит вылезают. Мычит! Водитель с места в карьер. Где-нибудь уже за кольцевой — кляп из зубов вынем. И хохочем, ржем! А старикан плачет-разливается. И верещит: «Только не убивайте! Только не убивайте!» Мы ему: «Сдались нам твои старые кости, дедок». — А куда ж вы меня везете, милки?!» — «Куда надо. В дом милосердия!» И привозили. И сгружали перед крыльцом. И выходил, бать, знаешь кто? Главный врач этого самого дома. Как его звали, угадай с трех раз? Верно, Митя Микиткин.

Стариков этих мы там недолго держали. Убивали, спросишь? Вон глаза какие страшные сделал. Они сами мерли. Мы их заставляли работать. Кого сапоги тачать, кого бревна таскать. Знаешь, бать, уроки великого Советского Союза не прошли даром. Беломорканал там, Чуйский тракт! Селечка соловецкая, мать ее! Уголек воркутинский! Труд облагораживает человека, внушали мы им, труд освобождает. Трудитесь хорошо — и мы вас выпустим отсюда. Они верили. Даже кто шить сапоги не умел — шили!

И халаты синие, черные на швейных машинках строчили, рабочие робы сатиновые! Мы их потом на Черкизовском рынке продавали. Хорошо те халаты шли. И сапоги сбывали. По дешевке. А старики долго не выдерживали. Жизнь моя — кинематограф, черно-белое кино! Дохли. Просто пачками. Мы их нарочно плохо кормили, дерьмово, суп в рот не возьмешь, второе как замазка. Витаминов нет, свежего воздуха нет, кого и били, издевались, прямо по лицу лупили, они на пол головой шмякались, сотрясение мозга, ать-два, и в дамки. Ну, на тот свет, значит. Я первое время забивался в угол, забирался на чердак, там такой чердак был, голубиный, а может, мышинный: то ли птичий помет всюду валяется и, сухой, хрустит под ногами, то ли мышины слезки. Я туда приду, скрючусь в углу, возле слухового окошка, и реву. Ревел всласть. Ну, тогда еще, наверное, человеком был. А потом стал постепенно превращаться в железную болванку. Так было легче жить. Выжить.

Старуха там была одна. Ох, хороша! Голова на шее гордо сидит. И плевать, что шея сморщена, как у черепахи, а волосы, как метель, белые. Зато какие густые! До старой собаки густые. Воображаю, в молодости какая была. Огонь, конфетка с коньяком. И стройняшка! Никаких жиров на заду и животе, никаких толстых подушек. Подтянутая, что тебе балерина. Волосы эти метельные, густые, в прическу укладывала, крупными кольцами. Фыркала: «Что у вас за бардак, тут вообще душ есть или нет? А джакузи?» Микиткин хапнул у нее удивительную квартиру: с зимним садом, с малахитовым джакузи. На улице Чайковского, в сталинском доме напротив американского посольства. Не квартирка, а мечта поэта! Красивую старуху звали чудно: Нинель Блэзовна Ровнер. Я думал, она еврейка. Ан нет. Она мне про себя рассказала. Отец, Блэз, был француз. Парижанин. Украиночку в Одессе подцепил. Еще до революции. Хохлушечка забрюхатела. Нинельку родила. А французик погиб, в лучших традициях, на баррикадах — в красной Одессе, сражался за русского царя. Легенда, выдумка уже этот царь был! Что за вчерашний сон биться! Убили его. Мать Нинелькина ее петь выучила. Нинелька консерваторию окончила, с блеском. В театральный институт в Москве поступала. А ее взяли и в одном летнем платье — в телятник, и на восток, в Приморье, в уссурийские лагеря. За что взяли? А это ты Сталина спроси за что. За красоту, видать! Туда много евреев отправляли, Сталин, видать, как Гитлер, с евреями боролся. И девочка эта нежная, худышка, а голос у ней с целый дом, в глаза бросилась этому ее муженьку, Ровнеру. А Ровнер-то кто был? ни за что не догадаешься. Флейтист из оркестра Госфильмофонда! Нинелька кошкой жмурилась: «О, Марк, если бы вы слышали, как флейта пела в его руках!» И вы пели вместе с флейтой, брякнул я. «И я пела», — кивнула она, и лицо у нее, знаешь, таким стало серьезным и таким красивым, что я впервые в жизни захотел у женщины руку поцеловать. У старухи. Но для Нинель времени не было. А-а-а... Извини, зеваю.

Она от гнева умерла. Да, от гнева! От злости тоже умирают. Я теперь знаю. У нас там, в доме этом милосердия, был подвал. А проще, погреб. Туда мы спускали особо вредных стариков. Ну, когда кто провинится, не сделает дневную норму или поскандалит. Или еще что-нибудь отчебучит. И вот старик там был один. Простецкий такой, совсем неизысканный, говорил даже на «о», как деревенщина. Ухватки грубые. Короче, люмпен чистый. От станка. Или вообще от сохи. И вот Нинелька к этому старику душой прикипела! Что она в нем нашла? Я зайду в каморку, где спала Нинелька и еще шестеро старух; глядь, опять они оба на кровати сидят, и рука в руке, как голубки. Любовь такая, глупость большая! Я, честно, дивился: и в девяносто с гаком лет, оказывается, можно любить! Да еще как! Смотрят друг на друга, не посмотрятся. Мужик, старый гриб, и старая королева. Мезальянс, черт! И знаешь, доставляло мне удовольствие несказанное на этих старых голубей глядеть! Однажды я зашел, они так сидят. Я им от двери бросил насмешливо: ребятки, козлятки, поцелуйтесь! Слабо?!

И они... бать, они... поцеловались...

И вот этот старикан, мужлан, не помню, что сделал, но Митьке не понравилось.

А для шкодливых стариков у нас особое наказание было.

Митька сам производил казнь. Он вразвалку подходил к старику, который набедокурил, и внятно, угрожающе говорил: «Папе не понравилось!» И старик начинал дрожать мелкой дрожью. А Микиткин медленно так берет его за шкуру, и медленно тянет за собой, и доводит до входа в погреб, и ногой отпахивает доски, что дыру закрывают. Вглубь ведет лестница. Шаткая. Иные старики с нее падали, а глубина погреба метра три или больше. Разбивались, кости ломали. Оттуда, из-под земли, охи, вопли, стоны. А Митя крышку закроет, песенку сквозь зубы засвистит и так же вразвалочку уйдет. На весь дом эти стоны разносятся. На вторые, третьи сутки утихают. А через неделю Митька сам в погреб спускается. Если старик еще жив — он его добывает. Рукоятью волены по башке. Но там, в погребе, чаще всего уже мертвец валялся. Меня или кого другого из забиральщиков звали на подмогу. Мы спускались по лестнице в черный ад и вытаскивали оттуда, из ада, мертвых ангелочков. У них такие лица были, бать! Ты таких никогда не видел в своей больнице. И не увидишь. Человек, который умирает не просто в муках, а в ужасе и унижении, у него такое лицо, такое... передать не могу. Перевернутое. Мир для него перевернулся. И лицо перевернулось. На месте рта — глаза. Подо лбом — рот. Поглядеть, кондратий хватит, не очухаешься.

Старик тот, Нинелькин запоздалый хахаль, на койке своей сидел колченогой, морщинистую рожу вскинул, когда Митька к нему утенком разлапистым подходил. Митька подошел и руку тяжелую старикану на затылок положил. Так подержал. Потом как-ак даст ему подзатыльник! Старик с койки на пол свалился. Другие старики завозились, заахали. Митька пинками его поднял и пинками же погнал вперед. Старичок брел, спотыкался и чуть не падал, за стены держался. Я понял, куда Митька его ведет. В погреб. Так и есть. Довел, крышку откинул, под мышки взял и вниз спустил. Старик цеплялся за ступеньки чахлой лесенки и орал недуром. Митька захлопнул крышку. Я слышал, как он крикнул над закрытой крышкой погреба: «Посиди тут, подумай о жизни!» И ушел. Вразвалочку, как всегда.

Потом, помню, мы ели в специальной, для нас, жральной комнатенке. Ну, вроде столовой. Варила нам одна из старух. Она сначала отказывалась, Митька выпорол ее ремнем, и она стала стряпать. Она раньше работала поварихой. Сам Бог велел.

И вот мы поели-попили, а меня тошнит. Тошнит уже от всего этого. И хоть Микиткин нам всем, и забиральщикам, и юристам, и водителям, деньги хорошие платит, я подумываю, как бы отсюда сделать ноги. Спасибо, как говорится, этому дому, пойдём к другому! То-се, дальше время течет, я про старикмана того и думать забыл. А тут мне Митька водочным хрипом на ухо шепчет: «Ты поди красотку кабаре проведай, кажись, бабка помирать собралась, ну так давно ж пора». Я вспомнил про старикашку. «А тот, хахаль ейный, с мордой как у селедки, он где? в подвале?» Митька хохотнул. «Эка припомнил. Да его ребятки давно уж в лес сволокли. И закопали. А мадамку его в погребицу не спустишь. Она сама по себе сдыхает. Лежит злая как черт, как я подойду — мне в рожу плюнет! Бить ее бесполезно. Она вся будто из железок скручена. Поди глянь, а?» И я пошел в палату к старухе.

Палата, громко сказано. Каморка! Как у них у всех тут, у стариков. Подхожу к ней. Лежит, вытянулась. Койка под ней не шелохнется. Как мертвая. Глаза открыты. В потолок смотрит. Я протянул руку. Я ее, бать, пожалел. По лбу мраморному погладил. Эй, говорю, Нинелька, ну, это самое, Нинель Блззовна, вы как тут? вам, может, поесть принести? С другой койки старушня жалобно верещит: «Дык ето, парнишечка, дык она не ист ничево уж какой денек! Она голодовку объявила!» Я старух обвел глазами и грозно спрашиваю: «Вы что, хотите сказать, что у нас тут тюрьма, да?» Все мол-

чат. Пришипелись. Я сел на табурет, у изголовья старухи. Руку ее в свою взял. Ну как доктор, елки. Или как этот ее хахаль, покойный. И нежно так ей говорю, и голос мой, слышу, дрожит, и стыдно мне все это лепетать, но вежливо лепечу все равно: «Вам обязательно надо пожрать. Ну хоть немножко. Я вам куриного бульона принесу, с белым мяском». Мне с кухни миску куриного супа приволокли; его старикам не положено было, а варили только нам, персоналу; старуха поварила мяса щедро, от сердца, наложила. И хлеба белого кусочки. Я кусочек раскрошил, в бульон покидал. Ложкой подцепил и Нинельке в рот сую. А рот у нее уже как дупло в коре дуба. Она лежит, глаза в потолок уставлены, но головой вдруг как мотнет, и плюнет, и ложку боднет, и ложка в одну сторону полетела, суп в другую, на колени мне вылился, горячий, а я на табурете весь оплеванный сижу. Обжегся. И в слюне старушечьей. Анекдот! Я это перетерпел. Себе говорю: может, она уже с ума сбежала, и вся эта еда напрасна. Миску крепче ухватил и ложку в рот ей опять толкаю. Она опять плюет. И вдруг рот разлепляет — и мне говорит, хоть и без вставных челюстей валяется, да отчетливо так, зло: «Убийцы. Дряни. Грешники вы великие. Вы будете гореть в аду. Если не покаетесь. Бог — есть!» И замолкает. Старухи вокруг крестятся испуганно, молча. Говорить боются. Я тихо поставил миску с бульоном на пол. Вроде как для собаки. А собаки нет. Они все тут собаки. Принимаются, суп чуют, вот-вот загавкают, еды попросят. И уже вижу: голодные, к миске подбираются. Тихо тапками шаркают, подползают. Жадно на миску эту глядят, глаза горят! Я обозлился. Встал, к двери шатнулся, выйти. И тут за спиной голос услышал, Нинелькин, жесткий, злой: «Нам ад при жизни сделали! А вы в аду будете гореть после смерти! Вечно!»

И больше она, батя, мне ничего не сказала. И никому.

Умолкла навсегда. И так молча и померла.

Мы мертвых стариков закапывали в ближнем лесу. Сначала на опушке, потом в глубь леса стали продвигаться. И Нинельку в лесу закопали. Я сам закапывал. Я яму рыл, напарник мой Нинельку к яме в мешке доволол, и так, в мешке, мы ее в яму сбросили и землей забросали. Забросали, я себя слушал, нутро свое: как я? переживаю: нет ли? что я чувствую? ну хоть что-нибудь чувствую? Я ничего не чувствовал. Как панцирная сетка. Дзынь, и тихо. Дом милосердия шиворот-навыворот то пустел, то опять наполнялся. Мы процветали. Микиткин богател. Нам отламывались от краденых стариковских квартир кусочки. Он нас хорошо содержал. Чтобы мы горя не знали и могли хорошо жрать и хорошо развлекаться. Я в Москву часто ездил: в рестораны, в киношки, залавливал дешевых девчонок, я ж говорю, они меня любили. «Марк, душечка! А ты при деньгах? Марк, хочу ликер „Амаретто“! Марк, а пойдем в зоопарк, хочу на павлинов поглядеть!» Кто-то из них вел меня к себе в хату. Малина, хаза, опасный кельдым! Кто-то забегал со мной прямо в подворотню. Тьма, снег, ветер, я портки расстегиваю. И мы оба смеемся. Эх, кабы знать, что я буду те деньки-ночки вспоминать как самое светлое времечко! Несмотря на то, что я в доме том милосердия — на смерть работал...

Батя, в жизни есть только смерть. Ты ж это тоже прекрасно знаешь, вшивый ты доктор Лектер.

И я это уже тогда знал. Знал, что без смерти никакой жизни нет, и смертью за жизнь надо платить, и смерть жизнью, да, можно побороть, только временно. Все на свете временно! Вечна только смерть. А мы еще копошимся, дергаемся. По мне, так давно надо перестать дергаться. Конец один. Видишь, каков я? Погляди на меня. Блевать не тянет? Да ладно, отвернись. Я не об этом. Зашел в кафешку, там зеркала до потолка, у зеркала стоит красавец парень, Том Круз просто, аж лоснится от красоты, в зеркалах отражается, вертится, себя, как бабенка, придиричиво разглядывает. А я разглядываю его. Беззастенчиво. Он меня в зеркале увидел. Обернулся быстро. Глазами меня измерил. Думаю: сейчас бросит мне ругань, как кость, а я ее подберу, сгрызу и его по-

зову: пойдём выйдем. Ну, из кафе на воздух, чтобы удобнее в морду дать. А он вместо матюгов — мне так изысканно: «Привет! Ты отличный типаж. Я как раз такого, как ты, искал! Тебя как звать?» Я приосанился. «А тебя?» Мы сразу стали на «ты». «Я Антон Богатов, а ты?» Я буркнул: «Марк». — «А фамилия?» — «Неважно». — «Будем снимать, что, псевдоним в титрах?» Я вытаращился. «Я не шлюха, чтобы меня снимать!» Он хохочет. «Дурень, я режиссер. Мы тут фильм один забабахали! Ты нам подходишь. Ты что в жизни-то делаешь?» Ну не говорить же этому Тому Крузу, что я стариков втихаря убиваю. Я и отвечаю: «Ничего не делаю. Жизнь прожигаю. Жгу с двух концов!» Он опять хохотать. «Не промах ты! На тебе визитку. Звони! А у тебя визитки, случайно, нет?»

Бать, я визитку впервые увидел. Вертел долго в пальцах квадратик глянцевой яркой бумаги. Том Круз исчез, как дым рассеялся. Вокруг меня зеркала кафе, холодные, я словно среди айсбергов один стою. Даже жрать расхотелось. Кино! Вот так история! Значит, от Митьки надо сбегать. А тут такое дело. Митька в дом милосердия на этот раз не старика привез, не старуху. А девчонку. Такую странную, до предела. Я про себя называл ее — девочка из будущего.

Ада ее звали. Милое имечко, да? Она была эмо. А, брось, все равно не поймешь. Черные чулки, полосатая кофта, руки в рукавах прячутся. Волосы пестрые: прядь черная, прядь розовая, прядь седая. Ощущение, что о башку ее художник кисть вытер. На груди, на бельевой веревке, болтается игрушечный череп. Веки накрашены так, что вместо глаз на роже торчат две черные дыры. В волосах бантик, как у куклы. Умора. Она мечтала о смерти, Ада. Только о ней и говорила. В первый же ее вечер в доме милосердия мы с ней курили вместе, на тумбочку блюдце чайное поставили, пепел стряхивать. За сигареткой она много чего мне поведала. Тебе это неинтересно. Я ее спросил: ты что, Митьке квартиру подписала, и он тебя на ренту обещал посадить? Ты что, больна неизлечимо, спрашиваю. Она ржет-смеется и новую сигарету из пачки тянет. Пока сидели вечерок, всю мою пачку искурила. Я только глядел, как она дым колечками пускает. Нет, говорит, я не больна. Но умереть, говорит, хочу. И очень даже! Я ей: почему? Жизнь что, такое уж дерьмо? А она мне: нет, жить, может, оно и клево. Но умереть — это высший кайф. Кайф — не быть. Тебя нет, и ты не страдаешь, и никто не страдает вообще. Нет — великое слово. А у тебя, говорит, еще сигареток нет?

Ну я, вместо сигареток, ей и брякнул: радуйся, тебя здесь живо укокошат! Тебя куда надо привезли! Она ресницами накрашенными хлопает. Меня, говорит, Дмитрий сюда привез позабавиться. Ну, отдохнуть. Ну, с ним отдохнуть. Ну, покурить, мне шнурки курить запрещают. И с мужиками спать тоже запрещают. А я хочу. Смеется, а зубы черные. Черной краской выкрашенные. Жуть. Я на зубы ее смотрю. Оторопь меня берет. Я шепчу ей, сквозь дым: поспите всласть, и он тебя прямо в постели задушит. Что будет с родителями твоими? Она мне так серьезно: у меня шнурки крепкие, они выдержат. А когда я умру, мне до них дела не будет. А им — до меня. Поревут и забудут. Все на свете все забывают!

А у меня под темечком одно бьется: кино, кино. Кино, вино и домино!

Ночное кино, жесткое порно, с Адой в главной роли, я не видел. Но слышал. И все забиральщики слышали, и все старики. Ну, может, только совсем глухие не слышали.

Через пару дней я подобрался к ней и тихо, но отчетливо сказал у нее над ухом: сегодня делаем ноги, готовься. Она вздернула плечи. Потрогала этот свой дурацкий глиняный череп на полосатой груди. Тоже тихо отвечает: а что готовиться, я готова, хоть сейчас сорвемся. Вот тебе и жажда смерти. Каждый, каждый хочет жить. Даже четвертованный, обрубок, самовар. Даже этот, как его, лысый хibaкуся, облученный в Хиросиме япошка: ему на земле всего ничего осталось болтаться, два понедельника, а и он хочет жить. Даже эти, эмо. Умру, умру! А сама: давай, Марк, не зевай, спаси меня. Осень,

дождь, иногда со снегом. Я уже в куртке накинутой, вроде прошвырнуться в лесок собрался. Ей бормочу: куртку надень. Она мне: нет никакой куртки у меня, ваш Дмитрий меня у дома подловил и в машину затолкал. Я мусор выносила. Все так быстро случилось! А сейчас случится еще быстрее, сказал я ей зло и рванул за руку. Вечер, темень, одинокий фонарь над воротами. Мы за руки взялись и быстро идем. Скользим по грязи. Обувка сразу вся перепачкалась. Я все ждал, что нам в спины начнут стрелять из-за ворот. У Митьки на крыше всегда сидел наблюдатель, вооруженный. Куда он провалился в непогоду? Может, покурить спрыгнул или отлить? Факт тот, что мы до леска добежали нормально. В тишине. И только когда взбежали на опушку, вслед защелкали выстрелы. Я толкнул Аду в спину: ложись! Сам на землю упал. Поползли. По грязюке. Как по сырому тесту ползли. Изгваздались оба в край. В лесок вбежали, я знал тропу к шоссе. Побежали. Бежим и падаем. Ада зацепится ногой за сосновый корень — и бух! Я поднимаю ее, вымазанную, и дальше чешем. Как к шоссе подковыляли, не помню. Дождь такой сек, что мало не покажется. Ада мне кричит: тачку не заловим, нас таких в тачку никто не посадит, попачкать побоится! Я выбежал на середину дороги и раскинул руки. Стою крестом. Машины дудят! Одна тормознула. Дверца открылась, из дверцы на меня — ушат матюгов. В бога-душу-в-бога-душу-в-бога... Я морду трагическую скорчил. Кричу: за нами погоня! спасите! Голос изнутри проорал: «Да скорей вы, в бога-душу-мать-перемать!» Мы, все в грязюке, бухнулись на сиденье. Водила с места в карьер взяла. Орет: «Вы что, ограбили кого?!» Ада молчит. Я тоже как воды в рот набрал. Водила гонит тачку, шпарит чуть ли на красный свет! Цедит сквозь зубы: «А это что ж такое, в бога-душу, а?!» И оборачивается. И мы, немые, оглядываемся. И видим, хорошо видим: за нами машина чешет, и эта машина — Митькина, и из этой машины в нас — стреляют.

Батя, батя, ну вот в тебя стреляли когда-нибудь? Нет? Ну и сиди тогда молчи в тряпочку! Ты не знаешь, каково это, когда пули свистят, а потом свист будто захлебывается, это пуля в твою тачку воткнулась. И стекло разбила. Или в сиденье застряла. Водила, с матерками, по шоссе виляет, газу дает. Погоня за нами! Мы на сиденье сжались, пригнулись. Он вопит нам: «Хрен ли я подобрал вас, щенки вонючие! Сейчас меня расквасят и вас долбанут, и делу конец!» Газует изо всех сил. Тачка аж трясется. Все из нее выжал. Оторвались. Кольцевую проскочили. Слава богу, без пробок. Уж поздний вечер. Москва, дома. Мрачные каменные сторожа. Шоферюга нас вывалил около светофора, на перекрестке. Мы — деру, а он нам в спины кричит: «В рубашке родились, вы, придурки!» Мы сами виляли по улицам, переулкам, пробежим десять метров — оглянемся, туда-сюда зыркаем, а на нас дьявол из блестящих прозрачных витрин — корявым манекеном смотрит. Кривой козел, да, а чуть отойдешь — из другой витрины — он же — лохотный такой, правильный, гладенький, глазки улыбочивые, ротик красочкой подмазанный, как у гея, а из ушей дым валит, и изо рта — дым. А может, дьявол курит, не знаю. Да, курит, и пьет коньяк, и девочек целует, и все что угодно. Может, человек вшивый как раз этому всему у него научился. Мне один умный мужик, поп-расстрига, объяснял: человек слаб, мелочен, мал, подл и грешен! Человек гадок, мерзок, похабен, он пошлый и ушлый! Он только притворяется, что он создан по образу и подобию Бога. Хотя, продолжал этот занятный поп, росло это дерево в райском саду, ну, это, с яблочками, и вот все кричат: любовь! любовь! — а первым людям даже как следует полюбоваться не дали, завопили со всех сторон: грех! грех! И что, висит золотое яблочко? Висит груша, нельзя скушать! А если тот Адам просто-напросто жрать хотел? И баба о нем позаботилась. Всего лишь! А вы на весь мир раскудахтались: грех, грех! — закрякали...

Грех, грех. Мы вместе бежим по улицам. Улицы свиваются в ленту. Витрины и рекламные мигают, пестрят, по зрачкам больно бьют. Сливаются в одну яркую цветную кашу. Мы ею давимся. Шархаемся. Мы...

...они сцепились руками крепко и больно, их руки не разорвать было, только если разрубить, и то Марк тянул Аду за собой, то Ада вырывалась вперед и, как на аркане, тащила за собой Марка. Сиамиские близнецы. Бешеные двойняшки. Хотят родиться на свет и не могут. Ночной дождь сечет из лица, плечи и спины, они оба вымокли, будто в собственной крови, так темно, страшно стекают по ним толстые, перевитые, как веревки, струи ливня. Ливень тьмы, грохот орудий неба. Небо обозлилось на человека и решило его исстегать. Исхлестать, издубасить до смерти бичами ледяной воды. Неон адски горел над головами людей, гигантские рекламы вздувались и гасли, а потом срывались с насиженных мест и улетали во тьму, как воздушные шары или сиротливые громадные, древние птицы. Махали светящимися крыльями. Фосфор светился и трещал. В костер ночи люди подкладывали дрова: свои холодные и жалкие тела. Марк спиной понял: сейчас! Резко присел, дернул руку Ады. Оба миг, другой сидели на корточках. Пуля ушла над их головами. Разрезанный ею воздух неслышимо сомкнулся. Марк ввалился в темную круглую арку проходного двора. Ада — за ним. Они опять побежали. Задыхались. Белки глаз Ады блестели. У нее с черной челки свалился в грязь розовый бантик. Глиняный череп, выпачканный в грязи, мотался на груди. Кофта из кокетливо-полосатой стала половой коричневой тряпкой. Марк понимал: радоваться рано, за ними могут ринуться в подворотню. Он потянул Аду в глубь дворов, запутывая след, то и дело шарахаясь в такие щели меж домов, где мог пролезть только кот или тощий шкет. Они царапались, скреблись, вырывались из каменных когтей. Ползли и выползали. Оставляли на гвоздях и колючей арматуре, на ее железных костях клочья одежды. Дьявол гнался за ними по пятам. Он корчил им рожи. Они страшились оглянуться: думали, оглянутся — и застынут под ледяными, властными глазами рекламного василиска. Зрачки пульсируют красным неоном. Голубая и зеленая холодная кровь медленно, вспыхивая, течет по вздувшимся стеклянным жилам.

Ах ты, дьявол. Смышленный. И пахнешь ты паленым мясом. А, черт, это же из ресторанички так пахнет! Забегаловка в подвале. Они мимо бегут. Что, если? Он переглянулся с Адой. Дождь бил в их лица и нагло полз по их трясущимся губам. Они оба и правда очень замерзли. «Нас туда не пустят», — тихо сказала Ада. «Плывать, — ответил Марк, — нам их разрешение ни к чему. Мы сами войдем». — «Ты знаешь волшебное слово?» Она пыталась смеяться, не получалось. Из витрин, сквозь их прозрачное толстое стекло, обильно и мутно политое дождем, на них глядели, подбоченясь, изумительные, блестящие, крутые мэны и обалденные телки: роскошь столицы так и перла из них наружу, ее было видать за версту, и манекены так тщательно копировали живых людей, что у мужчин хотелось попросить прикурить «Мальборо», а одну из картонных девчонок ткнуть пальцем в бок — а может, у нее живое ребро! — и прогундосить ей в ухо: мать, да ты совсем даже ничего, одолжи на ночьку жемчужное ожерелье твое, дай поносить! На смуглых пластмассовых грудях мерцали камни: рубины, изумруды. Марк ногой толкнул дверь в подвальчик, откуда ползли сытные запахи. Они с Адой скатились по мрачной лестнице. Вошли в зал, и люди, жующие и пьющие за столами, уставились на них, с ног до головы в грязи, мокрых, с дикими, полными ужаса глазами. Марк не растерялся. Он выдохнул — громко, на весь ресторанный зал: «Только что со съемок! Кино снимают! Мы участники массовки!» Люди молча продолжали есть и пить. Только из-за дальнего стола раздался равнодушный, звенящий железом о железо, механический голос: «Кино? Где, где?»

И все смолкло. Играла тихая музыка. Марк подмигнул официанту. «От вас тут можно позвонить? Режиссеру». Халдей презрительно обвел его сонными, будто пьяными глазами. Марк видел, он не верит ему. Но подвел его к барной стойке, к телефону. Марк пошарил в кармане и вытащил грязной дрожащей рукой, как курьей лапой, визитку режиссера Богатова. Набрал номер, пачкая пальцем циферблат. Трубку взяли. «Але?»

Антон? Это Марк, привет. Вот звоню. Вот...» Он правда не знал, что говорить. Красавчик Том Круз, по имени Антон, на том конце провода засмеялся и крикнул: «Ты сдобные булочки любишь?!» Марк отнял трубку от уха и очумело уставился на Аду. Она сидела за столиком и грела руки дыханием. Ее сложенные у груди ручонки походили на маленький голый череп. Грязь медленно ползла у нее с висков по щекам, как черные слезы. Жрущие и пьющие тарасились на нее, но молча продолжали есть. В ресторане угощение превышает всего. Хоть костер тут загорись посреди зала, люди с места не тронутся. Так же будут сидеть и грызть цыпленка табака. И пить херес. И курить. И молчать. В ресторане всегда хорошо молчать, эй, ты не замечал?

«Люблю!» — глупо крикнул он в ответ. Ухо ловило время и место встречи. Мозг деловито запоминал. Записать было нечем и не на чем. Рот повторял чужие слова. Марк подумал о том, что все мы в жизни говорим одни и те же слова. Только каждый складывает их в речь по-своему. Этим все мы и отличаемся; а так все мы одинаковы. Все мы, подумал он вдруг со странным облегчением, будто кто-то оправдал его, отмыл и очистил от тяжкого греха, все мы воры, воруем друг у друга и прощения не просим, потому что не за что и не у кого. Разве вор у вора должен прощения просить?

В переулках жуткого града осталась их бегущая жизнь, застыла плывущая грязь. Дьявол скорчил пьяную рожу и подслушивал их теперь здесь, под землей, среди дымов и ароматов. Марк пошарил в карманах куртки. Бумажник был при нем. Он прерывисто, как ребенок после рыданий, вздохнул. Подсел за столик к Аде. Шепнул: «Пойди умойся». Она встала, как пьяная, шатнулась вон из зала. Потом вернулась, и Марк с изумлением глядел на ее насквозь мокрую одежку. Его спасенная эмо выглядела как мокрая курица. «Что ты наделала?» — «Я постиралась», — просящим прощения, тоненьким детским голоском вывела она фиоритуру. «Что тебе заказать?» Ада беспретно протянула пальчики к меню. «Дай я сама выберу».

Она долго возила зрачками по строчкам меню, что-то бормотала, Марк плохо слышал. Потом ткнула в меню пальцем, тоньше вязальной спицы. Он прочитал: «БУРГУНДСКОЕ, БОКАЛ». «А пожрать?» — сердито спросил. «Я хочу согреться», — проблеяла она и застучала зубами.

Еду он заказал сам. Принесли поднос, ставили на стол блюда. Над мясом вился парок. Вино мерцало свежей кровью. Марк уже знал маленькую курильщицу: заказал пачку сигарет «Кэмел». Эмо жадно ела, жадно и быстро выпила вино, жадно курила сигареты, одну за другой. Они молчали. Зубы Ады перестали стучать. Щеки зарумянились. Марк думал про сдобные булочки. Наверное, Антон имел в виду толстеньких, аппетитных бабенок, смутно думал он; а халдей, по одному щелчку его пальцев, уже волок новый поднос с новым угощением, и Марку нравилось чувствовать себя в глазах малютки Ады всеильным богом.

Они переночевали в гостинице около метро «Октябрьская». Спали на одной кровати, в вале. Утром, в дикий дождь, шли пешком через Крымский мост, опять держались за руки и смеялись. Дьявол, что бежал за ними, хитро прикинулся громадным городом — руки дьявола превратились в каменные столбы, ноги — в стальные опоры мостов, круглым животом станции метро он катился на них из-за поворота, ухмылялся и пропадал вдали острым, как нож, шпилем высоты. Город, мир и дьявол теперь составляли одно. Марк не мог их пока различить. Махал рукой: да ладно, потом. Они с девчонкой шли мимо витрин, и да, жизнь была витрина, за ее стеклом они могли хорошо и подробно рассмотреть себя — и сами себе они не нравились.

«А ты бы могла работать живым манекеном?» — спросил девчонку Марк. «Могла бы! — гордо вскинула голову эмо. — У меня подружка знаешь кем работала? Рыбой! Ну, приделали ей рыбий хвост, блестящий такой, и плавники, на башку и на спину, к лифчику прицепили, и она плавала в огромном аквариуме, в рыбном магазине на Солянке!»

«И что, — потрясенно спросил Марк, — долго проработала?» — «Нет, недолго! Она под водой задохнулась! Не выплыла вовремя и воду вдохнула! И захлебнулась! Не откачали!» Эмо подумала малость и выдохнула: «Счастливая!» — «Так, может, зря я тебя от Митьки-то увез?» — вкрадчиво спросил Марк и подмигнул Аде. Она хохотала под дождем, закидывая голову, и в хохочущий рот ей влетали дождевые струи: она пила вино небес.

Они появились в назначенный час около дома, где их ждали. Ждали одного Марка, но он позвонил в дверь и, когда ее открыли, вытолкнул Аду вперед себя. Богатов устался на девчонку. «Это что еще за чудище?» Марк прищурился, глядел из прихожей в сияющий роскошью зал: на столе, среди ярких яств и бутылок, стоял черный жостовский поднос, на нем горкой лежали крошечные сдобные булочки с изюмом. Богатов проследил за глазами Марка. «Еще теплые!» — похвастался он. Девчонка сбросила ботики, Марк не стал разуваться. Так, босая и обутой, они прошли туда, где им теперь надлежало быть, жить: в новую жизнь Марка.

Новая жизнь загомонила, вспыхнула, развернула веер и стала им заманчиво обмахиваться. Лукаво и бесстыдно. Сдобные булочки сладко пахли. Он слышал голоса: «Сухостоев, Сухостоев!» Огромный лысый человек шел по залу, раздвигая пространство лбом и гладкой, как кегля, головою. Руками делал такие движения, будто плывет. Толстые руки смахивали на неповоротливые ласты. Подвижные тонкие, замысловато изогнутые губы играли на лице. Марк воззрился на него и понял: это он к нему идет.

Сейчас его новая жизнь без стеснения подойдет к нему, хлопнет его пухлой, как задница, ладонью по плечу, как по заднице, и выпьет с ним вина. На брудершафт.

Светские гладкие плечи, полоумье тусовок. Антон Богатов сразу окунул Марка в ту воду, где он не плавал ни разу и не знал, как плыть и в какую сторону. Марку вся толпа, бестолково крутящаяся, нарезающая круги вокруг пиршественного стола, казалась странным детским фильмом, давно забытым мультиком: вот кланяются и выпрямляются фигурки, подают друг другу кукольные ручки, деревянно смеются, стыдливо зевают, вынимают из бумажников игрушечные деньги, — где я, кто меня нарисовал и оживил? Сдобные булочки, с виду вроде оторопь и ужас, а на деле никакой загадки. Антон просто их очень любил, особенно свеженькие, с пылу с жару. Время плыло мимо них грязной водой, мутной и вонючей, и так важно было, побултыхавшись в его месиве, принять чистый холодный душ, растереться и запустить зубы в свежий горячий хлеб. В булочку с изюмом.

Режиссер Богатов снимал странный фильм, он свято верил, что фильм будет иметь бешеный успех в первые дни проката; это была лента про человека, который убил женщину и всю жизнь в этом каялся; еще там были наркоманы, их осудили и посадили в тюрьму; еще там были подростки, что брили головы налысо, вздергивали кулаки и кричали: «Убей инородца!» — а еще был один герой, совсем неглавный, но именно его Антон предложил сыграть Марку; человек, что задумал обокрасть другого человека, слишком богатого, — а вышло так, что он обворовал целую страну. Странный и тягучий фильм, никому не нужный, тек со старинной серебряной ложки времени, как мед; истаивал, как сахар в дворянской сахарнице фамильного сервиза; Антон не владел формой, у него внутри просто жило очень много всяких чувств, и он толком не знал, как их показать. Воплотить, вочеловечить. Он с радостью снял бы вместо всего фильма и сутолоки его героев просто один голый, на пустыре, ветер и его завыванье. Этот ветер дул и выл внутри него, и он-то был начало и конец всего, альфа и омега. Но фильму, вернее, людям, что будут его смотреть, нужны были живые люди в квадрате экрана.

Этих людей Богатов искал там и сям. И находил. Не проблема была найти актера. Проблема была в том, чтобы снять сразу последний дубль. Зачем искать, работать? Все делается само. Эта девочка, дикая эмо, что она тут делает? Поставьте ее сюда! Нет, сю-

да! Девочка, да, Ада, ты знаешь, что говорить? Она знает! Она будет говорить! Девочка, у тебя лучшая роль! Парень, у тебя лучшая роль!

Он каждому говорил, что у него лучшая и главная роль. Люди глядели на него с почтением; он был царь, они — слуги. Он безжалостно, как собак за шиворот, таскал их по окраинам и пустырям в дождь и слякоть, в снег и пургу. После рабочего дня он закатывал пиры. Грязная одежда брезгливо сдергивалась и летела в стиральную машину. Эту прикольную девчонку, эмо, наряжали, как Анджелину Джоли: платье декольте, туфли на каблуках шестнадцать сантиметров. Антон не удивился, когда, между двумя тостами, ему сказали: ваш актер покончил самоубийством после съемок. «Какая муха его укусила? Может, эта муха — я?» Заходился в хохоте, а все молчали. Марк неловко стукал бокалом о бокал Антона. «Богатов! Не парься! За тебя!» Через миг-другой народ весело гудел. Эмо, сидя в углу в кресле, старательно перевязывала на ботинке длинный шнурок. Марк глядел на яркую красивую тусовку, слушал возгласы, застольные речи, смешки и грызню, видел, как через стол летели пьяные плевки, его по глазам били белые молнии голых плеч и голых женских рук, он же был еще такой молодой, даже чересчур, малый щенок с острым нюхом, он раздувал ноздри и пытался учуять, откуда тут богатством несет, тут было столько богатого народу, а он был один тут бедный; нет, еще его жалкая эмо; тут плыли все осетры, белуги, севрюги, лососи, нерки, а он барахтался в этой золотой, серебряной водице один грязный ершишка. Колючие плавники свои гордо и жалко топырил. И никто тут не верил его важности. Все тут прекрасно видели: он — нищий ерш.

Ерш, ерш... им только отхожее место чистить...

Среди застолья ему камнем била в лоб мысль: а что если и отсюда, из этого нового дивного мира, сбежать? а куда? Адреса такого он не знал. Где он жил теперь, тоже не слишком осознавал; Богатов поселил его в особняке своего богатого отца — в таком доме можно было потерять самого себя и никогда больше не найти. Марк подсовывал руки под позолоченный кран, вода текла сама собой, и он в испуге руки отдергивал и над собой смеялся. Кто-то невидимый каждое утро чистил ему штиблеты. Кто-то незримый накрывал стол к завтраку. Завтрак вроде обычный, но как преподнесен! Серебряный кофейник... ручка чашки — золотой завитушкой... На хлеб щедро намазана осетровая икра, и так пахнет, так... В стальном кувшине — жульен с жареными белыми грибами... Опять запах... пьянит...

Он научился обонять чужую жизнь как свою.

Где приткнулась его эмо, его жутковатая зебра, с полосатыми волосами и в полосатой кофтенке, он не знал, не вникал в это; вспоминал, как она говорила ему о смерти там, в доме милосердия: «Покончить с собой — правильнее некуда». Но он пока не хотел воровать смерть у смерти. Он хотел своровать жизнь у жизни.

Снега погребли землю под тяжелым белым ковром, но на улицах Москвы белизна тут же превращалась в вязкую, хлипкую черноту. Ни зима, ни весна. Вечное безвременье. Рекламы взрывались и неистово пылали, их невозможно было прочитать и понять — все на разных языках. На наречиях большого мира, что лежал за пределами столицы, за границей сломанной, как черствая булка в жирных руках, безропотной страны. А кто будет устраивать революцию? На любую восставшую толпу найдутся пушки. На любой народ, бегущий штурмом брать дворец, — самолеты и бомбы. Не стать ли мне военным, хулигански думал о себе Марк и отбрасывал эту мысль в поганую корзину — она ломалась мгновенно, быстрее яичной скорлупы. Он хотел бы своровать у знаменитого генерала его славу, его ордена на кителе и смеялся над собой, шептал: Марк, пора в детский сад. С жадностью первопроходца глядел он на съемочной площадке, где бегал кругами и оголтело орал в матюгальник Антон, на камеры на колесах, на гигантские софиты: он узнал, как делалось кино, а делалось оно совсем не так

изящно, как смотрелось. У любого явления есть неприглядная изнанка. Он это хорошо понимал. Деньги воняли. Бугрилась узлами и заплатами оборотная сторона роскошного холста. Стиралась позолота, и нагло просвечивала грубая свиная кожа. Марк царапал толстую кожу ногтем, напрочь сцарапывал жалкое поддельное золото, и его чуткие, воровские пальцы жадно осязали подлинную жизнь: ему даже не надо было разглядывать ее в лупу, чтобы удостовериться: да, свинья, и откормленная лучшими отрубями.

Богатов щедро снабжал его деньгами. Марк косился: не гей ли, не переспать ли хочешь? Откуда рекою, как шампанское в новый год, лились деньги на тяготящийся Антонов фильм? А зачем ему было дознаваться? Ему просто нравилось жить в роскошестве, и он шептал себе под нос, бормотал: наслаждайся, это же временно. Рано он понял временность всего. И тем сильнее, острее ему хотелось своровать у времени время.

И все больше, волчком вращаясь среди чертовой кучи разнообразных людей, часто заглядывая им в лица, но никогда — глубоко в глаза, он думал о том, что вот он пока никакой не вор, а слуга: в услужении у смерти, не у кого-нибудь. Запах смерти он ощущал так же ясно и отчетливо, как запах тонко нарезанной на фарфоровой тарелке буженины на завтрак. Как она пахла? Уж не так, как у Митьки в доме милосердия. Не погано. Она душилась изысканными парфюмами и мазала себе черепушку яркими румянами. Все равно издали видать было: идут кости и гремят, и только шарахнуться от скелета, — и, может, опять спасешься.

Страна обратилась в такой гремящий костями скелет, из пыльного школьного кабинета анатомии, и страна мерно и медленно шла в завтрашнюю гибель, прикидываясь живой. Красное знамя сдернули с древка и растоптали, извозили в грязи. Новое, трехцветное, удивляло, как новое концертное платье знаменитой старой актрисы: а вот здесь, где морщины, заколите брошкой, пожалуйста, а вот здесь, не бойтесь, поглубже вырез! Народ бежал ночью на Лубянку и прыгал вокруг памятника давно мертвому вождю. Народ стаскивал эту позеленелую тяжелую бронзу с пьедестала и плясал на поверженном монументе, как пляшут на костях врага. Народ бежал к дому, где пряталась власть, и защищал этот дом от огня, а другая власть дом расстреливала, как человека. Народ голосовал и надрывал глотки, бесился, дрался. За что? Марк не понимал. Он пожимал плечами: пусть дерутся. Звери всегда в клетке дерутся. Все равно мы все в клетке. И вся задача — стать дрессировщиком.

Для этого надо своровать зверью судьбу.

Ты хищник, ты загрызешь! И не сомневайся! Марк сказал режиссеру: Антон, отпусти на волю, хочу пару деньков отдохнуть. Богатов засмеялся: организуем! У меня отец на Красное море летит с зазубой, может тебя взять! На Красное, осторожно спросил Марк, а это далеко? А это где? «Темнота, — фыркнул Богатов, — атлас изучи! Хургада, курортник супер! Там плывешь, а по дну морские звезды ползут, яркие такие, оранжевые!» Звезды, повторил растерянно Марк, морские. А потом спросил Антона: Антош, а ты что это так меня обихаживаешь, как девицу? Что, нравлюсь так? Богатов вздернул подбородок. «Хороший вопрос, парень. Получишь хороший ответ. Все слабаки, а ты силен. И умен. Но только, увы, сам об этом не знаешь». Расхохотался, раскатисто и обидно. Марк вторил: стыдно было молча, столбом, стоять.

Он не признался Богатову в одном желании: не столько на роскошные моря он хотел попасть, сколько — к забытой и одинокой земле, и остаться один. Пришел на Курский вокзал. Сел в электричку. Поехал на восток. Вылез, где в голову взбрело. Перешел рельсы и вошел в лес. Ноги вязли в снегу. Шел, ветви хлестали по лицу. Черные стволы перемежались красными. Деревья оживали и тянули к нему руки, он шарахался. Ему чудилось, деревья кричат: «Камера! Мотор!» Послышались шорох и тихое хорканье. Дорогу ему пересекли маленькие кабанчики; они бежали глубоко в снегу, над

скатертью снега виднелись только их мохнатые полосатые спины. За ними развалисто шла матка, мощная черная свинья, темные лохмы висли с ее круглых боков и мели снег. Марк встал недвижно и глядел на кабанов. Секача поблизости не было видно. Да Марк и не думал об опасности. Странное глубокое, сонное равнодушие охватило его. Он вспомнил маленькую эму. Ее тонкий мышинный голосок запищал у него в ушах: «Ты никогда не знаешь, где тебя обнимет смерть! Она такая загадочная! Она — красавица!» Красавица, тьфу, тихо плюнул он в сугроб. Кабанчики заметили его и быстрее побежали вперед, разрезая ногами и грудью снежную толщу. Свинья обернулась и глянула на Марка красными глазами. Он человеку не глядел в глаза, а вот свинье — посмотрел. И он...

...и я, бать, почему-то четко учуял, глядя в красные глаза свинье в том зимнем лесу: я — в услужении у смерти, у гибели, да. Ну благо бы я был ракетчиком! Или, там, служил в войсках любого рода! Или, к чертям войска, просто был бы наемным киллером! кстати, модная профессийка тогда стала, бывшие биатлонисты хорошо зашибали на этом деле. Я никогда не стрелял, а видишь, убивать уже умел. Смерть, она такая разная. Разномастная, собака! Я это свое чувство черного слуги топил в наших пирушках. Антон, ты понял, был разгульным дядькой, любил размахнуться по полной программе. Деньги позволяли. Кто там такой был его батья, я его об этом подробно не пытал. Сам расскажет, когда время придет. Знаешь, я не торопил время. Будто чувствовал, что оно потом, скоро, само заторопит меня. Будет толкать в спину, в бока: ну вперед, что вяло шевелишься, ножками перебирай, наддай!

Кино, ведь это было такое нереальное покрывало, и его Антон и его батька накидывали на все хорошее, что втихаря творили. А что всегда творит человечек? Правильно, бать, деньги. Деньги творит! Все завязано на деньгах, и можешь сейчас корчить возмущенные рожи, и махать руками, и квакать: да нет! не все! и не у всех! — мели, Емеля, твоя неделя, не верю, сказал Станиславский, — все и у всех. И кто сумел, тот и съел; а кто не успел, тот опоздал. Так все просто. Сколько преступлений совершается без наказания! По деньгам ходят, их подбрасывают носками башмаков, и их даже не собирают, так их презирают; такая они сволочь, дрянь, так на них надо наступать и давить их, раздавливать, рвать на куски безжалостно, — но это для виду, это спектакль для зрителей, это фильмец в темном престижном кинозале, для кучи людишек, они дорого заплатили за премьерный показ, а на деле-то ты уже договорился с раздатчиком, и тебе щедро отсыпали золотого овса в торбу, тебе отрезали наижирнейший кус от бревна-осетра и швырнули: лови! Заслужил! Ты подпрыгиваешь, ловишь. И сам виноват, если осетрина упала в грязь. Значит, неловкий ты и сам бревно.

Нереальное такое кино, да. И я сам себе казался нереальным. Мы курили с Антоном травку. Шатались по ночным клубам. Я обнимал голых девчонок, что змеями извивались у шеста. Совал им купюры за блестящий лифчик. Тот зимний лес, где свинья поглядела мне в глаза, я помнил как собственную, в снегу вырытую белую могилу. Земля для меня оказалась мертвой, я уже не был человеком на земле. Я просто ходил по ней, топтал ее, но вся каменная, горящая неонами и мусором шуршащая Москва выгибалась под моими ногами каменную корку, и ни до какой земли уже было не докопаться. Да и городской же паренек я был! Если бы, бать, ты хотя бы был у меня крестьянином! Ну ладно, тогда я бы ощущал то, чего сейчас не могу ощутить ни за какие коврижки. Только не смейся, бать, фильмец Богатов так и не снял, облом вышел, может, с батькой поцапался, может, еще какой казус приключился, не знаю, а вернее, не помню, бабки взяли и не вовремя кончились, а новые ниоткуда не приплыли, да на Красное море я с этим башлевым батькой и его бабой все-таки полетел: и поздно мне уже было назад пятками, взяты билеты, Рубикон перейден. Я впервые в жизни, прикинь, летел са-

молетом. Ощущение — не передать! Я астронавт, и вот сейчас на Луне высажусь. Батяка Антона и его шлюха всю дорогу до Хургады глушили коньяк. Стюардесса на столике развозила еду и выпивку, и все ели и киляли. Ну, и мы тоже. Я пил скромно, чтобы не наклюкаться. Черт, я же языков не знал! Ни одного чужого языка! Два жалких словца по-английски. Хау ду ю ду, сенкью вэри мач. А стюардесса говорила по-ненашему. Я ей только скалился вежливо. И пальцами знаки показывал, как немой немому. Она тоненько смеялась и мне коньяк подливала. Я косился на бабу Антонова папаши. Ничего баба, я заценил.

Бабенка молодая, но, я понял, старше меня. И глядит на меня как на паршивого щенка. Мол, навязали нам тебя, ну и сиди тихо, не твякай. Прилетели в эту Хургаду. Пальмы везде. Заселились в лучший отель. Номерочек у меня что надо. Синева вдали меж домами торчит, стеной вздымается. Мне говорят: это море. Я пожимаю плечами: эка невидаль! Хотя когда мы на пляже оказались, я просто рот разевал от изумления. Вода и правда до того прозрачная, все видать: и рыбок, и водоросли, и цветные камни на дне. Плаваю, я хорошо ведь плавал, это ты меня научил, спасибо, в нашей большой и широкой реке, не побоялся, хотя я эти рассказы о том, как брат мой утонул, все свое детство слышал. И они мне, честно, надоели как горькая редька. Ну вот вместо него я бы утонул. И что? И вы бы с матерью так же бы обо мне другому сыну рассказывали. Живому. А какая, хрен, разница.

Так вот, шлюшка эта. Плыву и думаю: хороша, у старшего Богатова есть вкус! А она тут, поблизости, плывет. Руками взмахивает. Не так чтобы очень близко, но я ее вижу, и она меня видит. И вдруг я ее видеть перестал. А вокруг визги страшные поднялись. Люди плывут, барахтаются, руками по воде колотят и так визжат, что уши закладывает! И все ринулись к берегу! Дружно поплыли! И вот, да, ее вижу, шлюшку эту, башку ее завитую, у ней волосы такие были пышные, золотистые, натуральная блондинка, вымирающий вид! И так гребет, задыхается! Надрывается! Я ничего не понимаю и тоже со всеми к берегу шпарю и тут понял: акула, черт! Акула!

Бать, я увидел ее всю, рыбину эту. Сначала тень ее, сквозь воду прозрачную, на песке, на дне. Потом — ее. Страшная, дрянь. И большая. Длинная. Длинная эта смерть и долгая: пока тебя раскусит, пока от тебя не откромсает руку, ногу, ты в море кровью обольешься, соленой водой захлебнешься, а все будешь плыть. И жить. Расстрел, слушай, гораздо лучше. Пулю в затылок — и ваши не пляшут. А тут все блажат и плывут. От смерти уплывают. Кому повезет? Знаешь, ноги этой красотки — под водой — вижу! Как она ими истерично бьет, перебирает! Плывет, а акула, гадина, все равно быстрее! Не обгонишь!

И тут вдруг вода — красным окрасилась! Черт! Лицо над водой красоткино — вижу. Побелело оно. Я все понял. Под нее поднырнул и так стал нарезать к берегу, что в глазах потемнело. А тут катер. Береговая охрана. И отрезал нас от акулы. Они стрелять в рыбину стали, с катера. А я на себе красоточку тащу и понимаю: сознание потеряла. Мне не поглядеть, какая рана, смертельная или выживет баба. Мне главное — до берега добраться. Ну вот песок. Я бабенку на руки — и с ней на берег выхожу. А по мне ее кровь течет. И я гляжу: рука прокушена. И прокушена страшно. Мясо аж вывернуто. Подковки зубов отпечатались. Короче, руке конец. А может, еще не конец! Швы наложить... в больницу, хирурга хорошего! У папика же денег куры не клюют! Кровь на песок течет. Машина подъезжает, прямо по песку. Я к машине бегу, весь в кровище. И папик тут, морда белая. «Я любые деньги!.. любые деньги!..» И по-английски дальше. Люди вокруг кричат и плачут. Мы в машину впихнулись, шофер гнал как полоумный. Больница кафелем дышит неземным. Чистота такая, что сам себе кажешься куском дерьма. Я по коридору бегу, с красоткой на руках, в операционную, на стол ее кладу. На меня руками машут: брысь, брысь! Я ухожу. В коридоре сидим. Папик стонет, буд-

то это его акула укусила. Я обозлился и говорю ему сквозь зубы: вы потише стоните, раны зашьют, если заражения крови не будет, через неделю в море купаться разрешат! Он тарасился на меня круглыми совиными глазами. В его глазах гуляла ненависть.

Батя, человек человеку волк, давно доказано. Тут и спорить не надо. Ни к чему. Выкатили к нам бабенку на тележке, укрытую простыней. Она в сознании. И будто еще красивей стала. Щеки впалые, губы огнем горят. Шепчет: я ничего, я нормально, а вы тут как? «Мы, — процедил папик, — мы переживаем». И тут я сам не знаю, что со мной сделалось. Я захохотал. В полный голос. И ляпнул сквозь смех: «Это он переживает, он, он, — и пальцем в папика тычу, — а я вот нисколько не переживаю, нисколючки!» И дальше ржу. Ко мне врач подгребают. Меня за руку хватает, пытается увести прочь от тележки. Красотка слабо вскрикивает, рука забинтованная поверх простыней бревном лежит: «Простите его, у него чисто нервное!» Папик шипит: «Говори по-английски, дура!» А мне в зубы тычут мензурку вонючую. Я выпиваю. И море по колено.

Так начался наш южный отдых, вот так отдохнули, и так началась, батя, моя жизнь, о которой я лишь мечтал. Обедали в лучших ресторанах. За обедом эта шлюшка пила обезболивающее горстями. Бледнела и смеялась. Слабым вином запивала. На пляже наша красотка сидела под огромным белым, как снежный холм, зонтом с кружевами, папик ей купил в лучшей барахольной лавке, смотрела, как мы купаемся, и махала нам здоровой рукой. Раз в сутки я возил ее на перевязки. Папик смотрел в отеле телевизор. Красотка, под конец отдыха, захотела шикануть. В Хургаду тогда прибыли король Саудовской Аравии Фахд и наследный принц Абдалла. Мне-то что в лоб, что по лбу. А вот красотка заявляет папику: хочу на прием! Папик вытарасился: ты что, умом тронулась?! С перевязанной-то лапой! А она смеется. Смелая бабенка была, однако. Все равно пойду, режет ему, как бритвой, и не запретишь.

И таки нарядилась, пошла. Мне кричит с порога: этот старикан не хочет со мной идти, так ты пойдешь! У меня ни смокинга, ничего. Она подмигивает: смокинг по дороге купим, в любом бутике, будешь выглядеть зашибенно! Когда она из номера вышла, одетая, я аж присвистнул. Обалденно она была хороша, батя, а может, я просто в жизни своей таких баб еще не видал, ну вот и пялился на нее, как на алмаз «Шах». Черное платье с золотой ниткой, туфлишки лаковые, черные, в пол-лица глаза блестят, грудь наполовину голая, на груди — не камни, звезды с неба горят. И в ушах, и на пальцах. Это ей здесь, в Хургаде, папик золото и брильянты накопил. Прельстили меня эти побрякушки. Как ребенка, прельстили! Батя, но я же ведь и был еще ребенок! Плохой ребенок, невоспитанный, жалкий, и красивым камешком меня можно было запросто опьянить, сбить с панталыку!

Я не оправдываюсь. Это я сам себя так уговариваю. Сам себе песню пою, колыбельную. На самом деле, батя, я родился вором и вырос в вора, и никуда мне было не удрать от воровской своей судьбы.

Она мне сама купила смокинг. Я первый примерил в бутике, он в пору оказался. Мы в машину юркнули, у палат таких остановились, что вверх, на фасад, глянешь — башка в танце закружится, и из кружения того не вынырнешь. Поднимаюсь по мраморной лестнице и думаю: черт, здесь такие акулы водятся, не спастись! Сам кошусь на ее забинтованную руку. Красотка вне себя от радости. Вся аж светится. А ну-ка, среди таких хищников золотая русская рыбка плывет. Я тогда не понимал, где мы, кто мы. А все стали на нас глядеть и нас обсуждать. Гул поднялся. Все смотрели на замотанную бинтами, толстую руку красотки. Как ее звали, спрашиваешь? Эх, да как звали... Поминай как звали — вот как.

Катя ее звали, Катька. Катерина, разрисована картина.

Ее, с этой прокушенной и забинтованной рукой, то и дело приглашали: то на танец, если музыка играла, то потреться, важные такие господа, я старался на них тоже

этак независимо смотреть, а то и сверху вниз, ну, значит, таким же, как они, прикидывался. Не думаю, чтобы это у меня отлично получалось. Я видел, как губы моей красотки изгибаются смешливо. Она все понимала, что творится со мной. Но меня одного она бросила плыть в этом людском море. И косилась: выплыву? не выплыву? Я молился про себя: эй, прием, ну ты уж закончись когда-нибудь! И да, прием этот закончился, и моя красotka с перевязанной этой рукой, акулой прогрызенной, блистала там будь здоров и имела успех. Я сам видел, как к ней подходит этот, как его, ну, нефтяной король. Или он настоящий король? Я понимал, что он король, все перед ним склонялись в поклонах. И рожа у него была такая, царственная. Белым платком обмотанная. А сам старец старцем. Песок сыплется. Так вот, моя красоточка подвалила к нему и улыбается ему, и, о ужас, сама за руку его берет. А он другой рукой ее нежную ручку — цап-царап! — и морду старую свою к ней приближает и что-то ей тихое бормочет. Что-то личное, думаю. Думаю так, он переспать ей предлагал. А она закинула кудрявую золотую голову и захохотала. Смеялась она уж очень хорошо. Светло. Будто разом куча рыболовных колокольчиков зазвенела. Король ее рукой по руке гладит. Собой прельщает. Вернее, миллионами своими. Я гляжу внимательно. Ключет? не ключет? И все дыхание затаили. Весь зал. И, вижу, красotka согласно голову склоняет. А это все на камеры снимают, как старый король, у него же сто жен, наверняка гарем, перед русской шлюшкой ковром расстилается. Жены, плачьте! Точно, они обо всем сговорились. К бабке не ходи. Я сам видел. И чуял. У меня всегда было хорошее чутье. Как у волка.

Ночь Хургады, теплая, безумная ночь. Мы в машину садимся, во взятую напрокат. И вдруг красotka моя, слышу, не наше название отеля шоферу называет: другое. Я сижу с ней на заднем сиденье. Ее в палантин газовый заботливо укутываю. Изображаю из себя такого наивняка. А сам дрожу уже, как зверь. Спрашиваю: ты что это, куда тебя несет? А она мне: туда же, куда и тебя. И сама мне на шею бросается. И я целую ее и будто бы я залпом бутылку коньяка выпил и не охнул. Такой сразу пьяный от нее стал. У меня же, бать, вообще никого не было в Москве, и даже на ту бедняжку, полосатую эмо, я не напрыгнул, не польстил: жалел, да и не вставало у меня на нее. А тут! Прикинь: прием у короля, акула руку прокусила, красота неопиcуемая у бабы из рожи так в мир и хлещет, неостановимо, и что, мне стоять и ждать? Или, хуже того, ее в темной душной машине — отталкивать? И прикидываться импотентом?

Она раздвинула ноги под платьем. Я запустил руку под черную, с золотом, жесткую парчовую юбку. Она льнет ко мне. Шофер все понимает, и гонит быстрее, и подхихикивает. Подъехали. Не помню, как она брала на ресепшене ключ. Как расплачивалась: должно быть, дорого. Мусульманская страна, строгие нравы. Не помню, как поднимались в лифте. Камень и железо плыли под ногами. Я снова плыл в море, и вокруг плыли акулы и скалили зубы. Треугольные пасти сверкали на потолке и на паркете. Мы рухнули на кровать, и, кажется, я порвал на ней это жесткое парчовое платье, с парчовой золотой розой у края декольте. Так озверел. Но мне хотелось докопаться до нее как можно скорее. Я спятил от жадности, я слюной исходил и спермой. Боялся только одного: кончить раньше, чем войду в нее. Тогда стыда не оберешься.

Батя... У меня таких баб, как Катька, больше никогда не было. Всякие были, а вот таких не было. Первая и последняя. Но я не жалею. А о чем жалеть? И кого винить? Мы друг на друга в ночной тьме смотрим, и глаза у нее в темноте блестят, как у рыси, а на груди у нее, и в ушах, и на пальчиках — все эти ее алмазные бирюльки, и я вежливо предлагаю ей, как рыцарь: давай сниму с тебя все это добро? Она хохочет. Я тоже хохочу. Мы оба стаскиваем с нее алмазы. Я говорю: надо куда-нибудь в укромное место сложить, а то утром будем дрыхнуть без задних пяток, а горничная придет убираться. И стащит! Она опять смеется. Засунь, говорит, в наволочку. Я наволочку с подушки сдираю — и туда. И потом опять обнимаю ее, и у меня опять встает. А она и ра-

да. Мы оба рады, счастливы, безумцы. Батя! Ты когда-нибудь был безумцем? Или так, скучно и прилично, гладенько прожил свою жизньешку?! Ах ты, жаль мне тебя. Значит, ты не знаешь, что такое жить. А я, я знаю.

Поэтому, батя, мне не страшно умирать.

И вот она уснула, а я не мог уснуть. Она уснула, а я украл у нее все ее сокровища. Алмазы пустынь, золото шейхов. Всю восточную сказку слямзил. Встал тихонько, осторожно, оделся беззвучно. Крепко увязал наволочку. Драгоценности слегка брякали. Я зажал наволочку в руках. Пожалел, что у меня с собой не было никакого оружия: ни пистолета, ни ножа. Все-таки чужой ночной город и чужая страна. Билет мой на самолет был со мной. Мы улетали утром. Я изловил машину, примчался в аэропорт, живенько поменял билет на более ранний рейс. Сумку купил. И две шкатулки. Сокровища из наволочки в шкатулки вытряхнул. На черном бархате они сияли, как моя бедная жизнь. Век бы любовался. Девушка на досмотре ахнула. Вертела в руках кольцо, кольца, длинные серьги — Катьке они до плеч доходили, золотыми ольховыми сережками свисали. Я понял: от меня хотят объяснений, что это и кому предназначено. Я на пальцах показал: готов заполнить декларацию! По-русски внятно, как учитель детям в школе, чеканил: «Э-то я ку-пил у вас сво-ей же-не! В по-да-рок!» Долго писал на россыпи бумажек буквы, цифры и даты. Мне подсказывали, что писать: на ломаном русском смуглый, как головешка, таможенник. Почему они не поняли, что я это украл? Не хотели в это верить?

Человек видит то, что хочет видеть. И верит в то, во что хочет верить.

Ну купил я это золотишко, купил, ну отстаньте вы все от меня. Какие же вы все гадкие! Все вы хотите уличить меня в чем-то. Я всю жизнь крал, а меня всю жизнь хотели уличить. Поймать за руку. И ловили, батя! Еще как ловили! Да я вырывался. А тогда, в Египте, не поймали; благополучно я прилетел в Москву, домчался до особняка папика, быстренько набил чемодан всяким добром, на улицу вывалился, шестеренки под черепом крутятся: теперь куда? на кудыкину гору? Отвык я уж за это короткое богатое время от нищей кудыкиной горы. Какой ты нищий, присвистнул я, ты же теперь богатый! Продам я Катькины египетские бирюльки крутому ювелиру. Ювелир на меня внимательно поглядел, все сразу понял, бестия, что я вор, не мои это сверкальцы, и ляпнул мне: ты, парень, хочешь, к лошадям приставлю? Я возрился на старика: к каким еще лошадям? Он смеется, челюсти беззубые кажет, на голове шапчонка такая, умора, черная, бархатная. А в скрюченных пальцах лупа. «К таким, — отвечает, — к самым что ни на есть настоящим, в конюшню!» Вот так вышло: приплелся сбывать рыжье, а угодил под конские хвосты. Кульбиты делает судьба! Да я сообразил: лошади, богач, я снова буду при кормушке, да забавно это все, на лошади хоть скакать научусь, все польза. Я ювелиру кивнул, он мне кучу денег отсчитал, просто хренову тучу, у меня с собой никакого кейса не было, чтобы все это туда скласть, и старикан мне преподнес мешок. Ну да, что смотришь так, простой мешок, из грубой холстины, такой грубой — ладони обрежешь. Я туда купюры стряхнул и натужно, дико засмеялся. Смех из меня порциями выходил.

Ювелир тот на рваной бумажке мне телефончик начертил. Звони, говорит, не ошибешься, я тебе добра желаю. Мой дружок закадычный, гонорова шляхта, богач полумный, на лошадках спятил!

Лошади, их запах. Навозец, конюшня просторная! Богач дельный оказался. Умный дядька, любо-дорого с таким поговорить. На дворе мороз, колотун, а в конюшне тепло, как в парилке. Лошади весело хвостами машут. Еда у них самолучшая, круче людской. Меня поставили начальником над подсобными рабочими: вроде как бригадиром. Конским генералом. Я раздавал команды. Чистили, кормили, выгуливали — другие. Спаривали — другие. Я только наблюдал и приказывал. Для этого мне надо бы-

ло вникнуть в суть дела; я и вник. Вникал я во все быстро. А еще в то, что хозяин мой — последний недотепа, и справиться с ним будет проще пареной репы.

Лошади, лошади! Я скоро всех их знал по кличкам. Бать, лошади, они умнее, лучше и чище, чем люди. Они не оскорбят, не раздавят. Они тебя за руку не схватят, когда ты крадешь. Им это по хрену. Они животные, от слова «жить». Милые! Морды длинные, хвосты шелковые. Машут ими, трясут. Кожа бархатная. Глаже, чем у той красотки, шлюхи Катьки. Я, прежде чем в дом пойти и лечь спать, каждую в конюшне обойду, каждую по морде поглажу. Они ласково ржут. Приветствуют меня. Нет, точно, звери выше людей. Они не знают нашей ненависти. У них зло свое и ненависть своя: да, они готовы убить соперника, но в честной борьбе. А мы? Я шел в дом, посреди полей стоял он, так я опять оказался близко от земли, я вдыхал ее запахи, и лошади мои выбегали на землю живую и резво скакали по ней, — и все-таки я ее уже не чуял, как чуяли мои кони. Я не мог разделить их веселого ржанья. Хотя с радостью заржал бы вместе с ними. Однажды оседлал вороного жеребца, гладкого, аж лоснился весь, какой откормленный, и долго на нем носился по черным полям. Стояла ранняя осень. Тоскливо мне было среди этих беспросветных полей. И навоз я устал нюхать. Хотя счет мой изрядно пополнялся. Богач мой щедрым был. Поляк, сам охотник, и из семьи охотников, и сам вдобавок знаменитый оружейник, сам выделявал охотничьи ружья и дорого продавал — ну такой охотничий Церетели, не иначе. Ружья с завитушками, с медными нашлепками, и одностволки, и двустволки, и даже берданки, тянуло его на ретро, он мне показывал ружьишки — я любовался, языком шелкал. Лысенький, высоченный, как Петр Первый, ножки длинные-тонкие, качается, будто бы подвыпил, глазки прозрачные, ледяные, на тебя глянет — полярным холодом обдаст; и зубы как у лошади: длинные, желтые, крупные. Трубку курил вишневого дерева. Дымок вечно над его лысиной вился. Собак держал: русских борзых. Ох и изящные! Грации полные штаны! Собаки по полю бегут, в струнку вытянутся, длинные мордочки свои по ветру вытянут, запахи земли жадно нюхают, а хозяин стоит, глядит на них из-под руки, шапку-конфедератку на затылок сдвинул, трубку сосет. Господин Высоковский, ексель-моксель. Тогда все в стране, помнишь, от товарищей плавно переходили к господам, да рот не мог привыкнуть. Сам себе господин! Я — владыка! Эх, да что ты говоришь! Врешь и сам себе не веришь! Я на ружья эти узорчатые косился, а сам думал: эх, стащить бы одно, самое красивое, и деру. Да, и тогда я уже подбирался к чужому добру! И уже задумывал побег! Меня прямо трясло от возбуждения, когда я помышлял об этом. О том, как с ружьем пана Высоковского по осенним полям иду, ну вроде как охотиться, только без лошади и без собаки, вообще без ничего, и если мне уж до конца повезет, то со стащенным у поляка бумажником за пазухой. В те поры наличные деньжата были больше в ходу; это сейчас у всех в зубах карты, карты. А тогда бумаги еще шуршали. И у моего хозяина их водилось так много, что он запросто мог на черную пашню выбредать и сеять их в землю: по ветру. И проросли бы.

Деньги! Бать, вот ты задумывался когда-нибудь, что они такое? Что это за игрушки такие человеческие? Деньги, что это за чертовня? Вор понимает. Бать, вор — все понимает! Но, как та охотничья собачка пана Высоковского, остромордая и курчавая, тявкнуть не может: объяснить. Вот и я все понимал. И теперь понимаю. Деньги, бать, это мы сами. Деньги украсть — это все равно что у человека жизнь украсть. Все деньгами измеряется. Дома, деревья, лошади, судьбы. Думаешь, я пошлый такой? Что, сидишь глядишь на меня, зыришь и думаешь, что вот я всю жизнь только и думал о деньгах?! Врешь, бать. Не только о них. Но я твердо и отлично усвоил: за тебя заплатят ровно столько, сколько ты стоишь. И ни копейки больше. Даже если ты задумаешь покупателя обмануть. Не выйдет! На роже у тебя висит твой ценник. И цифры эти текут в твоей крови.

Правда, знаешь, были моменты, когда я уговаривал себя, ну, как девушку уговаривают пойти с тобой в постель: ты, ну брось кобениться, брось выдумывать, на себя наговаривать, ты же прекрасно знаешь, есть высшие драгоценности, есть сокровища круче, чем счета в банках, а что это за сокровища, а погляди-ка, а догадайся, недогадливый, разве красота не сокровище? разве поцелуй не сокровище? разве ребенок, твой ребенок, долгожданный, не сокровище? разве, черт дерь, мир на твоей земле, когда снаряды не рвутся, когда не рвутся бомбы в метро или на стадионах, — мир блаженный, счастливый, — не сокровище?! Да пусть в этом мире нищие по улицам шастают! И бомжи на вокзалах дрыхнут! Пусть люди в этом мире друг друга подсиживают, обманывают, вцепляются друг другу в хари, ласкают и милуют друг дружку, да хоть на голове стоят, да хоть костры на Красной площади жгут, — а все равно это все мир, не война! И все они — не погибают! Ах, ха-ха, а своею смертью — помрут. Что уже хорошо, не правда ли?

Так я уговаривал себя, внушал себе праведные и чистые, благородные мысли, а дьяволенок, что жил во мне, крепко он во мне поселился, глубоко внутри, всеми когтями вцепился, мне нашептывал поганенько: вот гляди, внимательней гляди, девушка красивая и глядит так мило, так сердечно, ну сразу видать, душа-человек, — а на деле ей за гадость хорошо приплатили, щедро, и она сделала эту гадость, совершила, и не охнула! Гляди, вот дядька представительный, грудь выпятил, орет с трибуны о благе и силе, о развитии и мощи, — а дядьке-то классно заплатили, чтобы он все эти лозунги прилюдно орал! Чего человек не сделает ради денег! Да все сделает!

А потом наступал вечер. И я оставался один. В новой квартирешке, я снял ее за гроши около дальней станции метро, в бедном квартале, домишки такие, нищета на нищете сидит и нищетой погоняет, с новым, между прочим, паспортом за пазухой, и на чужое имя, мне совсем не улыбалось, чтобы меня взяли и цапнули. И — в каталажку. Все, закончилось кино. И вино, и домино, и богатые попойки, и рысистые лошадки. А ружьишко-то я так и не стащил у пана Высоковского. Так и не стащил. Жалею. А что жалеть. Я бы все равно не смог его с собой по жизни своей таскать.

Ружьишко не спер, зато бумажник спер. Мне пан Высоковский спел однажды старую песенку, времен его детства, должно быть: «Пока смотрел „Багдадский вор“, самарский вор бумажник спер!» Хохотал, кофе попивал, я тоже кофе из золоченой чашечки отхлебывал, косился на новое ружье, мастером сработанное: оно лежало на кровати, поверх китайского шелкового покрывала, с крупным, как цветок, медным завитком на цевье. Я частушку ту воспринял как руководство к действию. Старый пан поперся спать. У него была жена, да померла; он мне в альбоме ее фотографии показывал. Когда-то красавицей кокетничала, по слухам, отменной портнихой была: пол-Москвы баб к ней ездило наряды заказывать. Всему бывает конец. Я сидел и допивал кофе. Пан в соседней спальне захрапел. Он доверял мне. Я не знаю, почему, но люди с ходу доверяли мне. Я быстро втирался в доверие. Это тоже дар. Не каждому дано. Дверь в спальню пан не запер. Я осторожно вошел, под музыку этого длинного храпа подкрался к стулу, на спинке висел пиджак. Просто — пиджак! Без всякого там сейфа! Дурак ты, хозяин. Не так надо жить. Я вытащил из кармана бумажник, пробрался к себе в каморку, вскинул сумку на плечо. На первой попутке удрал. Ночью очутился в Москве, и это была чертова ночь.

Вот так ночь! Всем ночам ночь! Я и не думал, что в Москве такое может быть. Выстрелы. Прохожие бегут. Головы руками закрывают, приседают. Вопят: «Снайперы! Снайперы! На высотках!» Грузовики по дорогам тряслись. Откуда-то издали надвигался ужасающий гул: это шли танки, я понял. Танки в центре столицы! И вот уже на улицах костры горят. Я так мечтал о живом огне, и вот он явился. Люди бежали, и я поддался общему безумию, я тоже побежал. Бегу, задыхаюсь. Куда бегу, не знаю.

Вдруг в ночи передо мной — дом. Я его не узнал! С виду как мощные белые соты. И горит. Черный дым из него валит, и белая стена уж вся почернела. И вот они, железные могучие коробки, прямо на меня прут, нет, на всех людей, что толпятся, бестолково грудятся, качаются, и отскакивают, и снова напирают, не знают, куда бежать, а все равно бегут! И я, бать, вижу, как прямо передо мной падает мужик, ему грудь пробило, и еще второй падает, асфальт ногтями царапает, а я-то прямо за ними бегу! Гул нарастает. Танки за нами. Я внутри варева, ну и месиво заварилось! Не выберусь. Страшно завопила женщина. Схватила ребенка за руку, тащит, а он ноги подогнул, и она его по земле волочет. Как куклу тряпичную. А тут рассвет. Тусклый, серый. И все видать стало. Все лица, пушки танков, всех убитых. По асфальту дорожки темной крови. Я впервые видел бойню. Считай, что видел войну. Любое убийство — война. Потом замазывай не замазывай содеянное. Человечишко так устроен, что ему лишь бы себя оправдать. Бьет себя в грудь кулаком и кричит: я хороший! я хороший! Часто он кричит это сам себе. А громко орет, как глухой. И что думаешь? Он себя в этом убеждает. Что он хороший и даже, черт, святой. Если самому себе все время твердить: я святой, я святой, я святой, — поневоле святым станешь.

А каково это, бать, когда свои — своих бьют? Сидел ты тут, в нашем городе на реке, вдалеке от Москвы, и ничего этого не видал-не слышал, а тебе о бойне этой даже в газетах не рассказали: властям не нужна правда. Правда всегда вывалится наружу, да лишь по прошествии времени. После драки вдруг замашут кулаками. И закричат: вот правда, правда! А какая она, эта правда? Какие деньги заплатили властям, чтобы они свой народ расстреляли? Какие деньги заплатили танкистам, снайперам? Снайперы метко били. Винтовочки с оптическим прицелом, новейших марок. Пан Высоковский такими бы гордился. Кто его знает, пана, может, он и оптикой занимался. Сбили его оптику! Сбили мою! Сбился прицел. Куда бежим, черт, а?!

Чьи-то руки меня, чую, тащат. Так, соображаю, значит, это я упал. Значит, тоже подстрелили! Но, черт, почему же не больно нигде?! К себе прислушиваюсь. А меня по асфальту тащат. Штаны мне обдирают. И кожу на локтях и на икрах — до крови. А вокруг свист. Это пули. А потом: бабах! Это снаряд рвется. И я смутно думаю: сейчас в меня шархнет. И, знаешь, никакого страха нет, ну, что вот сейчас сдохнешь. Да сдыхай на здоровье, примерно так о себе, любимом, думаешь. Я не вру, нет. Я слишком много в жизни врал. Перед смертью врать нельзя. Не ты жизнь себе подарил, не ты ее у себя должен отнять. Дать — отнять! Я бы этим, кто у орудий и кто, скрюченный, на шпилях высоток сидит, так и крикнул, завопил прямо в уши, и чтобы у них барабанные перепонки полопались: не ты дал! Зачем отнимаешь?!

Бесполезны все эти крики, бать. Честно, бесполезны. Один я, что ли, так захотел покричать? Да сто тыщ, мильон народу. А толку. Вот заложили меня внутрь железного пирога живой начинкой, внутрь пушки снарядом заложили, и сейчас как рванет, глаза повылазят, костей не соберешь. И начинка из пирога наземь поплывет, красная. Соленая, не сладкая. Те, кто так близко видал смерть и глубоко вдохнул ее, затыкнулся ею, как сигаретой, те уже не боятся, черт, никаких злых мест.

И я не боялся.

Меня по асфальту, под выстрелами и разрывами, протащили, в подъезд втащили, по лестнице на верхний этаж втащили. В комнате, огромной, как корабль, сильно накурено. Хоть топор вешай. Мужик ко мне подходит. Ножницами на мне куртку, рубаху разрезает. И отдирает от меня прилипшие лоскуты. Я кричу от боли. Это меня подрали, и ткань к ране присохла. Мужик поливает меня водкой, прямо из бутылки. Ватой промакивает. Цыкнул на меня: «Хватит хныкать!» Я замолк. Он нож водкой полил, потом ею же полил, черт, не поверишь, обычные плоскогубцы. Говорит мне: ну, молись! Подбородок небритый. Щеки синие. Зубы под губами поблескивают: один живой,

один серебряный, потом дырка, потом опять железный, потом снова живой, желтый. Вот так доктор! Всем докторам доктор! Сейчас меня резать будет! Как барана!

Я набрал в грудь воздуху. Пока вдыхал, мужик меня и полоснул ножом. Распахал рану, как плугом. Запустил в нее плоскогубцы, через мгновение пулю вытащил и у меня под носом ею повертел, и кровь с пули капнула мне на губы и по подбородку ползла. Вот, смеется, лучше меня хирурга в Москве вашей чертовой нет! А потом пулю как швырнет только. Она полетела в стену и врезалась в батарею. И зазвенела. Я лежу, слезы по щекам текут, я и сам как пьяный, а мужик этот небритый горлышко бутылки мне ко рту подносит и в зубы сует: на, на, не робей, глотни! Сейчас водярой рану твою глупую залью, и перевяжем!

Он так и сделал. Я потом с ним сдружился, с Хирургом. Понял я, куда угодил. Машины, хазы, притоны, катраны, стрелки забить, отхватить, оборваться. Научился я говорить по-ихнему. Нехитрое дело. Любили меня мои бандиты, и я их любил. А что? Они же люди. <...>

«...за тобой охотились?» Марк неудобно, боком, неуклюже вывернув руку, лежал на заднем сиденье. Разлепил губы и выдавил: «Топленое молоко жалко, вот специально купил, люблю его». Шофер захохотал: «Молоко! Значит, стрелял твой убийца, а попал-то в молоко! В молоко! Промахнулся!»

Марк вежливо вторил ему, смеялся вместе с ним, дуэтом. Оборвал смех: смеяться не мог. Заплакал, выгнулся, будто в судороге. Началась истерика. Художник остановил машину возле большого, в небеса уходящего старинного дома. Открыл заднюю дверцу, вытащил Марка из салона на воздух. Лицо Марка, залитое слезами, в свете фонарей гляделось жалкой набеленной маской кукольного Пьеро. Луна в небесах над Москвой горела, как синий фонарь. Художник осторожно взял Марка под локоть и повел. Там у нас лифт, лифт, тихо и нежно говорил он Марку, тебе не придется ножками шаркать, у меня тринадцатый этаж, все хорошо, хорошо.

Говорили отрывисто, скупо. Попутно художник готовил еду и чай. Ты кто? Человек. Да ведь и я тоже человек! Мы оба, так выходит, человеки! Москвич? Нет. Приехал сюда мальчишкой. А ты? Москвич? Нет. Приехал сюда недавно. Откуда? Пес знает откуда, друг. Из тайги! С реки Лены! Оттуда, где она только начало берет. Гнуса там в тайге — пропасть! А это картины твои? А то чьи же! Мои! Я их из Сибири привез. Вот, друг, прославиться хочу! А что хохочешь? А что, нельзя? Да нет, можно. Что можно — смеяться? или прославиться? И то и другое. Ха! ха!

Смеялись. Курили. Грызли козинаки. Жгли свечи. Марк жадно глядел на палитру. Там светились выдавленные щедро, горами, краски. Масло, и лак, и позолота, и грубые зерна на исподе холста. Как ты все это добро с Лены — сюда — доvez? Добрые люди помогли. Свет не без добрых людей. Ты какой любишь, черный или зеленый? У меня и красный есть. Мне все равно, знаешь. А мне нет! я буду зеленый, с лимоном! Слушай, дружок, в тебя стреляли, это плохо. Куда уж хуже! Так я не про то. Ты отсидись тут у меня, да? Поживи немного, да? Ну, у себя не появляйся пока. Пускай время пройдет. Все утрясется. А я тебя не стесню? Да нет, ну что ты. Это же мастерская. Друга моего мастерская. Он за границу укатил. Может, там и останется. Мне вот ключ всучил. Я и рад. А ты — рад? Я... я — не знаю... А что тут знать! Радуйся! Радуйся, я с тобой! И у нас жратва есть! Нехилая! Я сегодня на Арбате холстик продал — и всего накупил: и колбасы копченой, и кофе, и чаю, и курицу, чуть попозже в духовке запеку, и вот даже козинаки! Хочешь курить? Да. Я тоже! Посмолим?

Опять курили.

Марк исподтишка разглядывал своего спасителя. Маленькая лысинка, как тонзура. Брови седые, серебрятся, кусты ветлы у воды ясно-серо-синих, прозрачных, чуть

в зеленцу, речных глаз. Добрых! Добрейших! Улыбка нежнейшая, и сам весь исходит добротой, светом нездешним: сияет, лучится. Пушистые волосы вокруг лысинки, за ушами, шевелятся и светятся. Руки, пальцы вымазаны краской. Не отмоешь. В годах! Зачем в столицу прикатил на колченогом, шатком поезде, где дуло во все щели, а ночью грызли из банки вареную курицу и резались в сальные, дивные карты? Слава, слава! Да ведь и художника зовут — Слава. Святослав, а фамилия? А зачем тебе? Она тебе ничего не скажет! Меня в Москве пока никто не знает! Пока... Ну кто-то ведь да знает! Кто-то, да. Кореш мой, Витек. Витек Агафонов, пусть тебе прибудет, а от тебя не убудет! А где твой Витек-то? А в Канаде! А где это Канада? Ой, чувак! Ты не знаешь, где это Канада! Так ведь там же Ниагарский водопад! Брызги Ниагары стучат в мое сердце, понял?!

Я всю свою мастерскую из Сибири сюда перевез! Всю жизнь свою — перевез! Грузовой вагон заказывал! Мне деньги на поездку друзья год собирали! Хорошие у меня друзья, да. Сибиряки! Не чета столичным жителям! Здесь все бы только урвать, украсть! Стащить, слямзить! Так устроен здесь человек. А сибиряк — он, нет, не такой! А что, в Сибири не крадут? Нет, мужик, нет! Ну если и крадут, так это просто из рук вон! Вору там сразу морду бьют! В кровь, в кашу! И руки выдергивают, чтоб не крал! А раньше вору руки вообще рубили! По локоть, знаешь?! Ух, как страшно. Как безрукому жить? А вот так, брат, и жили! Миску зубами со стола ухватывали и суп хлебали! А то и лакали, как собака, из миски!

Слушай, давай сменим тему. Давай! А покурить? Давай!

А хочешь, чтобы тебе не было скучно, я тебя тут буду учить рисовать? Что, что? Рисовать? А зачем это мне, рисовать? Ну как это зачем! Рисовать — это все равно что дышать! Это для тебя дышать. А мне что в лоб, что по лбу. Тебе легче будет жить! А кто тебе сказал, что мне трудно жить?

Лысенький художник со слезным, лучистым ликом святого, с пушистыми волосами, их будто развевал ветер вокруг его бедной, уже стареющей головы, всплеснул руками и так жалобно поглядел на Марка, будто Марк болел тяжело, и никаким снадобьям та хворь не поддавалась. Так ведь всем, всем, милоч, трудно жить! И тебе тоже! Еще как трудно! Недаром в тебя стреляли! Не зря!

Эту карту было нечем крыть. Марк низко, к самым коленям, опустил голову. Хрен с тобой, золотая рыбка, гуляй же ты на просторе. Учи меня рисовать.

Так он вслух сказал художнику; а про себя, тихо, добавил: старый дурак.

Он даже на улицу не выходил — художник его не пускал: боялся за него. Он выходил на балкон и так дышал воздухом. Иногда за дверью раздавалось наглое мяуканье. Это приходил тощий черный кот с желтыми глазами. Художник кормил его килькой в томате. Марк гладил кота по выпирающему под ночной шерстью хребту. В мастерской стоял холодильник, и на двух обожженных кирпичках мерцала серой спиралью старая электрическая плитка. Марк то и дело кипятил на плитке ржавый чайник и от тоски заваривал крепкий чай. Сахар хранился в жестяной банке из-под кофе. В чашке медленно плавал золотой лимон, кот громко мурлыкал, засыпая на продавленном диване, а Марк подцеплял густые, как сметана, краски с грязной пестрой палитры и щедро вминал в туго натянутый холст. Краски — это была дикая, звериная забава. Иногда ему казалось: это лучше женщины. Так же весело, жарко, только без запахов духов, канители, и соленой влаги, и пота, и слез, и сетований, и упреков.

Прислушаться к себе. Как самочувствие? Нигде не болит? Не жжет, не колет? Он, еще до выстрелов на ночной улице в снегопаде, прошел курс хорошего лечения за очень большие деньги; а краски мелькали перед глазами, смеялись ему в лицо, лились, плыли, плакали, шептали, угодливо размазываясь, ковром расстилаясь под податливой кистью: вот, Марк, уразумей, художник-то просто ловит жизнь, как птичку в силоч, он остав-

ляет ее на холсте, а ты что пытался делать? пытался деньги ловить, золотишко, счета, почет, тяжело пытался весить на весах человеческих, да все ты такой же тощий шкет, все такой же воришка, — нет, не надо вспоминать, ты еще молодой, тебе не в прошлом копать надо, а будущее — снежком в ночь запускать! Из будущего — в свое гадкое и стыдное прошлое — навскидку стрелять.

А гадкое и стыдное прошлое у него было; да, было.

Но он о нем даже себе не намекал; и по ночам не снилось оно ему; и уж художнику, его приютившему, спасителю его, он ни сном ни духом не обмолвился о темных невидимых крыльях у себя за спиной.

Шептал себе, как в жару, в бреду: еще навспоминаюсь... еще...

Художник уходил, куда он исчезал, Марк не вникал; он лежал на скрипучем диване, курил и от нечего делать пел коту песни, а потом играл со своим именем: переставлял в нем буквы, и получалось «Мрак». Окно залеплял мокрый снег. Его жизнь потихоньку залепляла мокрая белая смерть, тоскливая, как бродяга, ищущий пустые бутылки у помойки. А картины были живые. Они толпились, вспыхивали, золотились и лоснились, играли снопами искр, в ночи горели и гасли, и опять чуть тлели, их пламя билось во мраке, даже когда Марк выключал свет и бессонно таращился в серое ничто. Картины, свечи! И в церковь ходить не надо. Славы не было. Чужая каморка вся пылала чужими кострами, что не он разжег.

И вдруг он до боли, до ужаса захотел, чтобы весь этот огонь стал — его.

Он вскочил с дивана. Диван лязгнул под его сильным молодым телом всеми пружинами. Он провел ладонями по вмиг вспотевшему лицу. Дрожал. Эх, как он раньше не догадался! Охотничий гон, чуйка вора, вновь бешено, властно восстали в нем. Он обвел глазами горящие краски. Вещный мир! Зримый! Все это можно в одночасье сжечь. Все подвластно уничтожению, все! Но люди из эфемерности делают славу. И делают деньги. И делают — себя. Судьбу. Вот и он! Что — он?! ну что, что?!

Он храбро, нагло додумывал: вот и я чужое сделаю своим! Только игра эта будет покрупнее. Счет пойдет на невысказанные цифры! А даже и не на деньги, шут с ними! На славу! Да, на славу, на нее! Какова она на вкус?! Он жизнь проживает и не знает. Теперь узнает! Эти картины... они...

Он ни черта не понимал в живописи. Он просто видел: это красиво, и это можно дорого продать. Не их, дурак! А себя! Себя, как того, кто их родил! О да, это станут его дети. Он их усыновит, эти холсты, эти картонки. Он везде напишет на них свое имя. Имя! Марк! Мрак! Черт! Как это красиво! С фамилией отца его, родовой? Нет! Просто Марк! Ну вроде как марка! Фирма! Круто! Круче не бывает! Все богатеи всей Москвы, да что там, всего Токио, всего Нью-Йорка и Парижа, Кейптауна и Стокгольма, и какие там на земле есть еще знаменитые громкие города, купят его картины! Он будет висеть во всех музеях мира! К нему будут вставать в очередь за автографом! Он...

Оборвал себя. Тихо, вслух сказал себе: ты же рисовать ни шиша не умеешь. К мольберту не встанешь. Да, ты уже малюешь, возишь кисточкой по холсту, детский лепет.

А зачем обнародовать свою кухню? Пусть никто не знает, как и где он работает. Пусть его мастерская будет... будет...

Мысли скрежетали шестеренками. Летели черными воронами. Взрывались подо лбом, как петарды. Ему впервые было так тяжело думать. Надо убирать с дороги Славу. Куда? Надо стать Славой. Как? Ни одного ответа не маячило во мраке. Он обхватил голову руками, и ему почудилось, что под его ладонями — лысый череп художника, его светлые пушистые волосенки.

Ну, это же не гадкое низкопробное кинцо, и он не будет себе менять внешность, ведь картин Славы пока никто не знает, это девственный товар, и можно сделать просто: убрать помеху с дороги, и все дела. И все дела! Дела начнутся потом, после. Главное

дело надо сделать сейчас. А что сделать? Убить? Убить, ха. Но ты же не киллер! Или тебе понравилось, как в тебя палили, и ты решил искусство перенять? Глупо все, глупо. Думай хорошенько. Думай лучше. Придумай такое, к чему не подкопаешься. Не придерешься.

Раздобыть пистолет? Приказать Славе под дулом убираться восвояси? Нехорошо, он в суд подаст. Какой там суд, нет свидетелей! Все равно разъяренный малеванец потом появится. Вынырнет из омота. А не надо, чтобы выныривал. Надеть маску, когда в мастерскую войдет, пьяненький-веселенький, насесть на него? Связать, кляп в рот, скотч на глаза, в мешок, в лыжный рюкзак, и вперед, вокзал-билет, и куда? в другой город? в леса, поля, луга? бросить в снежном поле, связанного его снег быстро заметет. Нельзя, это тоже убийство! Марк, ну ты же не убийца! Обмануть? Сказать: знаешь, с Лены твоей позвонили, тебя там срочно ждут, на похороны, друг у тебя умер! Какой друг? Имени не знает. Кто звонил? Не спросил. Глупо, художник может в Сибирь сам позвонить. И вылезет наружу вранье. И ссора, ругань. И потом примирение, пьянка. Водки ртутной бутылка на грязном столе, среди кистей и тюбиков. И тишина. Тишина!

Нет, конечно, нет; убивать он его не будет. Убить — это пошло, это чересчур гадко. Для него? Или для всякого человека? Мысли сшибались. Ну ясно, для всякого! Но ведь, Марк, молча орал он сам себе, среди кучи всяких разных всегда попадают те, кто убивает! И куда нам всем от этого не уйти! А войны? Марк, а войны? Куда ты денешь войны? Узаконенное грандиозное, многоглавое убийство. И войны ведут владыки стран; и народ за ними идет, встает под ружье; и на полях сражений решается судьба всех: быть всем или сразу всем помереть. Второе, оно, конечно, ужасней, но ведь меньше народа, больше кислорода.

Не убивать! Только не убивать! Глупо, напрасно...

Ему почудилось, как художник тонко кричит, по-бабьи: «Только не убивайте! Не убивайте!» Просит пощады. Этот бредовый дальний крик стоял у Марка в ушах. Он зажал ладонями уши. Старинные настенные часы громко цокали, медный лунный маятник качался, бил. Медные блики выхватывали из тьмы очумелое лицо Марка: открытый, как для плача или вопля, рот, заросшие щетиной щеки, лоб, исчервивленный морщинами. Сразу старик стал. Луна в окно светила, ее свет падал на зеленую медь маятника. Маятник бил неостановимо. Марк не заметил, как дверь отворилась и в комнату вошли.

Думать было уже некогда. Марк шагнул к вошедшему. Кот мяукнул. Марк закинул ему руку за шею, вроде бы обнять. Потом быстро сместил локоть вбок. Захват. Художник, чуть пьяненький, выпучил серые светлые глаза, в них вспыхнул прозрачный ужас, ужас просветил до дна, как толщу воды, всю его дикую, далекую таежную жизнь. Пытался отодрать руку Марка от горла; Марк подключил к захвату другую руку, он вспомнил все свои драки, всю известную ему борьбу и болевые приемы; схватил художника за правую руку, перегнул ему руку в локте, художник заорал, Марк локтем крепко двинул его по губам, кровь потекла, Марк наклонился и мощно ткнул его головой в живот. Художник упал, кровь изо рта капала на паркет. Марк придавил его всем телом, левую руку крутанул и вывернул наружу. Художник только слабо крикнул: «За что?!» — и открыл рот и замер, а изо рта, из угла губ, по подбородку и скуле на паркет все стекала кровь, и маятник бил, и лунные пятна медленно ходили по стенам. Картины бесстрастно глядели на возню людей.

Художник лежал недвижно. Марк отпрянул от него. Затряс его. Его кровь, прежде его ума, поняла, что сделалось. Сделалось то, чего он боялся, не хотел. Марк не хотел, но он убил. Это было хуже всего. Он сидел над мертвым, скрючившись, сначала не двигался, потом закачался взад-вперед. Что же случилось? Что? Он его не задушил,

по башке камнем не ударил, ножом не ткнул. Он умер — сам по себе! От ужаса? Да, может, от ужаса. Ужас, он может стать убийцей. От убийцы убежишь, а от ужаса уже нет. Эй, ужас, проваливай! Прочь! Его самого охватила оторопь. Еще шаг, и ужас. И он тоже сдохнет. Два трупа, негоже. Как избавиться от хлама? Хлам выкидывают и завтра забывают о нем. О том, что ты ел-пил, на чем спал, кого любил. Твое прошлое — хлам ненужный! И люди — хлам. Вот хлам лежит перед тобой на окровавленном паркете. Миг назад это был человек. Но он отжил, отработал свое. Теперь он хлам. Быстро убери его. Как? Куда?

Марк разогнул спину и огляделся. Теперь он тут хозяин. Он пошарил в карманах Славиного пальто и вытащил ключ и мятые купюры. От рта, испачканного кровью, шел грубый водочный запах. Плохую водку пили ребята. Или плохо закусывали. И снова было некогда думать. Он цапнул со стула старую рубаху, крепко вытер мертвецу рот, сдернул с дивана изодранное котом покрывало и завернул в покрывало художника, он стал похож на колбаску для великана, на гигантский мясной рулет. Заколол покрывало булавками. Замотал скотчем. Мертвец, о счастье, оказался щедушным; хорошо, руки не оттянет.

Марк долго бродил по мастерской. Он сам не знал, что искал. Нашел. Это были старые санки, еще со старинной железной, узорно изогнутой спинкой. Марк тепло оделся в чужую одежду, понимал, что нынче придется всю ночь по городу бродить. Чужой овечий тулуп, чужая лисья шапка, вся вытертая, моль поела. Чужие рукавицы. Закрыв мастерскую, подхватил закатанный в покрывало труп, санки, стоял в лифте, считал секунды. Вышел на улицу. Мело. Бельевою веревкой крепко, надежно он прикрутил мертвеца к санкам. На санках уместились только голова, грудь и живот. Ноги свисали. Это ничего, сказал он себе, если спросят, что везу, скажу — елку.

Пошел вперед, нагнувшись, покатыл санки за собой. Тяжело, но придется шагать, такой груз в метро не возят. Да и закрыли уже метро. Часа два ночи. А может, и больше. Куда ты идешь, спрашивал он себя, ну куда? Он не знал. Теперь он уже ничего не знал. И знать не хотел. За него все знала эта ночь, и эта метель, и эти фонари в метели, они светили мутно, туманно, и эти тени, он шел и отбрасывал тень, а иногда не отбрасывал тени, тогда он оборачивался, чтобы увидеть это, понять и снова испытать ни с чем не сравнимый ужас. Ужас ударял его током, ему было очень больно, потом ужас хитро исчезал, но вместе с ужасом исчезал он. Это было непонятно, и вот тут можно было сойти с ума. Чтобы не сойти с ума, он брел, тащил за собой тяжелые санки и повторял себе: тебя теперь все узнают, все, все, и ты будешь Слава, Слава, да, он, он, она, она. Слава.

Долго он шел по ночной метельной Москве и волок за собою страшные санки. Наконец устал брести, взмок, пот вымочил всю одежду, над тулупом вился пар, он теперь понимал, как умирают исхлестанные, загнанные лошади. Его все-таки спросили, что он везет: подгулявший парень со свертком под мышкой, из свертка торчало серебряное горло шампанского и батон колбасы, а потом, через квартал, подслеповатый бомж, в надежде, что если съестное мужик везет, то, может, ему отколется. И оба раза он ответил четко, как и задумал: «Елку купил!» Парень с шампанским подозрительно протянул: ну-у-у-у, это ты припоздал, земля, Новый-то год вроде уж прошел, а, нет? Бомж крикнул ему в ответ: а, елка, елочка, в лесу родилась елочка, в лесу она росла! И оба раза он на эти речи смолчал. А что было говорить?

Забрел в пустынный двор. Снег лежал белыми барханами. Зыбучие пески снега затягивали, вглатывали. Далеко, на краю двора, виднелись мусорные контейнеры. Еще когда и как найдут; да и найдут ли. Может, и не найдут; железные клещи ящик подцепят, мусор в кузов вывалят. Свалка, Слава, вот твоя могила. Отвязал труп от санок. Подтащил к железному ящику. Увалил. Хорошо упал мертвец на дно, удачно; снаружи

не видно, не торчит заманчиво перевязанная веревкой, скотчем замотанная праздничная елка.

Вот оно и все тут, шептал себе, возвращаясь налегке, таща за собой ставшие легче пуха санки, вот оно и все, а ты боялся. Все на деле оказалось до смешного плевым, гилью, ерундой. Так присваиваются вещи; а жизни? Марку предстояло примерить на себя чужую жизнь, и вдруг он развеселился. Да так неистово, что в пляс захотел пуститься! С трудом себя останавливал. Посреди ночной Москвы — да вприсядку, не заберут ли его в лечебницу? Ах, молодец, Марк! И от поганой болячки вылечился, и теперь знаменитым станешь! Вот так подфартило! Ему петь хотелось. Завершился ужас, больше не захлестывал волной. Начиналась жизнь настоящая, такая, про которую в книжках читают: он знаменит, он дорого стоит! Осадил себя: да сейчас самый твой труд только и начнется! Надо сделать так, чтобы твое имя гремело везде! А это — денег бешеных стоит! Ухмыльнулся: деньги? добудем! Да деньги своровать — нехитрое дело! А на хорошее дело, на славное имя, денег никто не пожалеет! Потому что все возле моего имени, как возле костра, захотят погреться!

Он все-таки сплясал посреди ночного фонарного, слепого от снега города. Остановился. Раскинул руки. Присел. Сердце мощно билось. По скулам текла влага. Да это просто таял снег. Чепуха какая, слезы! Разве мужик плачет! А если ревет, то — от радости. Давай валяй! Ногу выбросил вперед. Выкинул коленце. Он никогда не плясал русского. Это было все мертвое, забытое. На дискотеках в школе терся возле девчонок, топтался, кулаками тряс, вот и все танцы. А тут он как вдруг в пляс пошел! Как с цепи сорвался! Руки, ноги сами задвигались. Ему было все равно, глядят на него из окон, и слепо-темных, и уже горящих, или не видят его. Наплевать, пусть видят. А не видят, тем лучше. Пляска оказалась сильнее его. Он в этой пляске плясал все: горы, и увалы, и родную холодную, широченную реку, ее ледяную зимнюю пустыню, и первое воровство, когда первый кошелек из кармана толстой тетки на рынке украл, и небо в грозных тучах, и первый ливень, и страх ледяных просторов земли, что он еще не видел, а сердце знало: еще увидит, — и дороги перед ним расстилались живыми руками, а равнины и берега — мертвыми голыми, тощими телами, и торчали ребрами сваи, и громоздились спинами и локтями камни и битые кирпичи, и внутри него, под сугробной кожей, под зальделыми позвонками его кровь шла в нем нескончаемым красным снегом, мела красной метелью, и горели во тьме не людские глаза, а костры, и огнем тянулись к нему руки, а пляску его было не поймать, так он ускользал от жадно ловящих его зрачков и цепких рук, так радовался своей близкой славе, так веселился, зная, что никогда, ни в жизнь не отработать ему эту живую, чужую славу! А все равно, какое же счастье, праздник какой — обонять, осязать чужое! Присвоить его! Присвоить — и есть на нем, на чужом, и грызть его, и пить, и однажды до косточки, до ребрышка съесть его! И вот тогда, тогда чужое станет твоим! И вас уже будет не отличить! Не разъять! Не разодрать!

Пусть только попробуют!

А если попробуют — я легко докажу, и покажу, что я, я сам все это родил! А не он, чужой!

Потому что я его, безвестного, смело похоронил, а на его могильном холме, укрытом его старым покрывалом, что драл когтями его тощий кот, сплясал свою, свою собственную пляску! Так посмейте теперь сказать мне, что я — вор! Какой же я вор, если я чужие слова перемолол и свой хлеб испек?! Какой же я вор, если я чужой воздух вдохнул, а выдохнул — свой? Этот чужой воздух — он моей, моей кровью стал! Он уже во мне течет! Вор, да, ну и что, вор! Об этом я и сам знаю. А люди, люди о том никогда не узнают! Людям я — себя покажу! Только себя! Себя одного! Свои картины! Свои! Мои...

Он застыл на снегу. Вздернул голову и поймал взгляд. Из-за шторы на него глядела глазами, полными ужаса, седая растрепанная, только с постели, старуха. Марк отковырял ей, отряхнул снег у себя с плеч, с рукавов. С воротника чужого дубленого тупа. Огляделся. Голая голова, и ветер волосы треплет. Лисья шапка валялась под ногами. Он поднял ее и нахлобучил на темя. Какая прекрасная, жадная штука жизнь! В ней главное — не зевать. Ему повезло! И он не убил, не убил.

Он подхватил ремень санок. Шел, санки шуршали полозьями по снегу. Повторял сам себе: я не убил, нет, не убил, не убил.

Когда он пришел в мастерскую, он уже свято верил в это.

И в то, что он сам все эти картины написал.

Платье чужой жизни жало только первое время. Потом швы разъехались, расставились. Далекий Витек лежал на дне Канады. Марк обзвонил знаменитых галеристов, набрал номер лысого Сухостоева. «Ты в курсе, что твоя кремлевская протезе пыталась меня застрелить? Нет, не из ревности. А может, из ревности, не знаю. Я чудом спасся. Кстати, что с ней? Уехала из страны? Туда ей и дорога. Слушай, Сухостоев! Я теперь художник. У меня открылся дар. Ну да, вот так просто и открылся! Все великое просто! Старик, сними мне просторную мастерскую! Ючусь в халупе. А мне нужен размах! Ну да, вот такой финт ушами! Не говори, во сне не приснится!»

Лысый снял ему огромной величины апартаменты возле самой Красной площади. И это лысый первым купил у него один из лучших холстов бедного мертвеца: мрачные дома, угрюмый пугающий город, каменные соты, дикая пурга, снег вьется безумными кольцами и спиральями, встает серебряными столбами, и в кружении снега, на ветру, стоит женщина; она распахнула шубу, в отчаянии разодрала на груди кружевную сорочку, голую плоть сечет снег, волосы дымом летят по ветру, глаза во все лицо, в них ночь, и боль, и проклятие, и любовь, и прощение — все сразу. Мазки плотные, густые, светятся. Марк поставил на холсте, внизу, в правом углу, свою подпись, старательно вывел буквы своего смертного имени кисточкой, обмакнутой в угольно-черную краску. Баба на картине напоминала ему златовласую Катку, у которой он стырил украшения в Хургаде. Лысый Сухостоев важно ходил меж украденных работ, в огромные окна лился свет, далеко вспыхивали вечной алой кровью звезды на башнях Кремля. «Ну что, Марк, тебя можно поздравить? Ты гениальный художник! Ты, брат, уже бессмертен! Как тебе удалось, — шурился хитро, — за такое короткое, черт подери, время?» Марк опускал глаза. «Я талант. Только я об этом не знал. Теперь знаю». Умный Сухостоев тер ладонью блестящую лысину, вертел голову-дыней. Он все понимал, но боялся об этом прямо сказать Марку: сбежит добыча.

Сухостоев задумал сделать на Марке большое состояние; прежде всего он был бизнесмен, затем политик, затем уже человек. Человека в Сухостоеве оставалось совсем мало, на доньшке. Человек Сухостоев еще умел считать. Он украдкой пересчитал все картины: около ста больших холстов, штук пятьдесят небольших, бесчисленно этюдов: везде раскиданы, стоят стопками у стен, рассованы по стеллажам. Глаз у него был на искусство наметан. Он согнул свою толстую, мощную спину, наклонился над временем, заглянул в глубь этих чужих холстов, как в прозрачное озеро осторожно заглядывают с берега, пронизал зрачками всю толщу воды, до дна, где драгоценные камни раскиданы, где золотые, алые и серебряные рыбы медленно, важно плывут, — и понял все про россыпь сокровищ, лежащих на дне: нырять надо, и глубоко нырять, и на поверхность вытащишь то, о чем всю жизнь грезил: крупную, величиною с жизнь, жемчужину.

Лысый похлопал Марка по плечу. А что у тебя руки не в краске? Мало сейчас работаешь? Марк отводил глаза. Да, мало работаю. Сухостоев, прищурившись, рассматривал чистый холст на мольберте. Что задумал написать? Еще не знаю. Я — импрови-

зирую. Я никогда не знаю, что и как ко мне придет. Кто зайвится. Знаешь, Сухостоев, я тебе тайну открою, у меня внутри такой бешеный источник вдохновения существует, я даже сам боюсь. Оттуда фонтаны красок хлещут. Я их вижу и даже слышу. Когда этот фонтан вдруг забьет, я хватаю кисть и сразу — к мольберту. И тут уже меня никто не остановит. Даже ты.

Даже я?!

Смеялись оба. Выпивали. Сухостоев важно поднимал палец: художники много пьют, да ты не спейся. Я не сопьюсь, серьезно отвечал ему Марк, я для этого слишком умный.

Вторую картину Сухостоев продал человеку из Кремля. Человек был знаменит в узких кругах, уже появлялся в телевизоре, уже глядела на него страна и обсуждала его по косточкам, кто восхищался, кто плевался, а человек знай себе делал свое дело, обрастая деньгами и связями по всему миру. Он имел уже свободный доступ к безумным мировым деньгам, и лысый это знал. Картину новомодного живописца он предложил человеку из Кремля за такие деньги, о каких в приличном обществе говорить было нельзя: и стыдно, и страшно. Человек из Кремля, увидав картину, дал согласие на покупку. Сухостоев потирал руки. Когда лысый и Марк поделили переведенный на счет человеком из Кремля гонорар, они двое суток кутили в ресторане «Прага»; их облепили ночные бабочки, но Марк, осторожный, уже обожженный жутью испытанной хвори, ни с кем никуда веселиться в полуночной постели не ехал.

Колесо покатилося! Все быстрее и быстрее. Сухостоев вложил деньги в звонкое звучание его имени. «Марк, Марк!» — щебетали девочки с телевидения. С первых страниц газет, с обложек глянцевого журналов глядело лицо Марка, и сам он стоял около мольберта, в рубашке апаш, с палитрой, испятнанной яркими красками, с огромной, почти малярной кистью в руке. То улыбался, а то глядел мрачно, угрюмо. Он небрежно листал таблоид и сам себе нравился. Ему уже нравилось все это: шумиха, кваканье и криканье, лепет и щебет. Кадры, пошлая музыка рекламы, торжественные песни о нем, пляски вокруг его картин в его мастерской. Его? Он начал забывать, что картины — чужие. Он втерся в них, сросся с ними. Какая, оказывается, красота — жить чужою жизнью! А какая разница — своя, чужая? Все люди плывут в одном море. И всех кусают за руки, за ноги одни и те же акулы.

Паркет кремлевских палат был такой блестящий! Немудрено поскользнуться. И не однажды. Шел, и новые башмаки от Гуччи чуть поскрипывали, шел по залу получать награду. Лысый пробил ему награду — сейчас на грудь ему нацепят священный орден, и он приобщится к хору избранных. Марк! Святое имя! А, да, ведь кто-то ему сказал: давным-давно жил на белом свете такой Марк, и он написал какую-то святую книгу. Ха, ха, да он же не святой! Он — вор! А что если книгу ту добыть да прочитать? А может, тот, кто ее написал, у кого другого — своровал? Ведь все воруют друг у друга. Все!

Он теперь знал это доподлинно.

Лысый воровал у друзей. У врагов. Враги воровали у врагов и делали их друзьями. Власть воровала у народа, а потом кричала на весь свет: народ меня сначала выбрал, а потом нагло обокрал меня! Власть крала у народа накопленные им деньги, жалкие гроши, а потом обвиняла народ в том, что он глуп и туп; быстрее надо мыслить, живей идти в ногу со временем! Время не будет ждать тебя, нищий народ, возле выхода метро! Я, власть, обокрала тебя; да тебе поделом! Не зевай!

Марк сухими губами беззвучно повторял этот нахальный клич: крадите и делитесь! Он вступил в круг, очерченный воровским мелом, и ему теперь надлежало делиться. Лысый подсказывал ему, что делать. Скоро он уже ловко резал на куски жесткую, звонкую денежную колбасу. Ему приказывали: кради! — и он крал. Ему шептали: отка-

ти! — и он делился. Все было просто, как в аптеке. Провизор отвечивал лекарства по рецепту. Умный фармацевт, умнее любого врача, успешно излечивал стыдную болезнь.

Награду из владычных рук он получил. Знаменитые руки долго, неловко прикручивали орден к его лацкану. Он опускал голову, касаясь подбородком груди, и косился на темный лацкан: ярко горел железный костер, пылала расписная звезда. Символ чести и славы. Слава! Слава! Туго перехваченная бельевой веревкой елка! На какой ты свалке гниешь?

Дорогой особняк. Дорогая посуда. Есть и пить с дорогого, с драгоценного? Да пожалуйста! Дорогое время: минута стоит диких денег. Власть, с нею можно здороваться за руку. Он пока еще рукопожатный. Вокруг него нимб гения. Гений Марк! Дорогая машина. Превосходный «бьюик». Он ехал по забитой железными повозками Тверской, вцеплялся в руль и повторял: «Я бессмертен, я бессмертен». Повторял, повторял — самому себе молча, в уши, вопил: я бессмертен! — и внезапно холодный пот прошибал его, и тек у него по спине, и он брезгливо поводил плечами, мокрая рубашка липла к лопаткам под пиджаком: он врал самому себе. Он — обкрадывал — сам — себя.

А что он у себя крал? А он воровал у себя — правду.

Правду воровать легко и приятно, шептал он себе, машины мигали, гудки прорезали вечер, огни россыпью обступали его, красные, резкие, загоня в угол, под стволы охотников, под выстрелы. Кто завтра пальнет в него? Чью правду он сворует завтра?

Он научится жить завтрашним днем; предвидеть и вычислять; но он не предвидел лишь одного. Самого страшного.

Устраивал вернисаж. Модная галерея, закрытый показ. Нарочно выпачкал бархатный пиджак масляной краской. Втер в бархат каплю скипидара, чтобы от него художником пахло. Встряхнул волосами. Похлопал себя по щекам. Гладкие, смазанные лосьоном. Весь лощеный, лаковый. Ни к чему не придрачься. Лысый сообщил: будут первые люди. Люди, люди на блюде! Он тихо хихикал, влезая в башмаки, засовывая в нагрудный карман кружевной носовой платок от Фенди. Гладко он выбрился, а сейчас модно шататься небритым. С бандитской рожей. Щетина чтобы торчала. И волосы торчали. Это модный стиль «гарлем». А он бреется по старинке, аккуратно. Надо быстро перенять моду. Картины уплывают! Скоро все распродаст, и что будет делать? Кого-то нового обворовывать?

Хохотнул, спустился вниз. Особняк три этажа, сауна, бассейн. По стенам бегут козули, олени, лоси, лошади. Ему нужен бег. Чтобы все время бежать. Оголтело нестись куда-то. Спокойно — не жить. Куда ты бежишь вместе с этими зверями? На водопой? Лизать соль? К любви и смерти? А ты можешь соперника — ради любви — убить? Хоть кого-то — убить — сможешь?

Едва не смог; Бог помог. Бог? Или кто другой?

Разве вору помощь нужна, кривил он губы, и железная повозка несла его в себе, бежала, бежал, летел снег за окном, эта вечная зима ему уже надоела, ах, Москва, ты такая красивая, ты меня выкрутила, как тряпку, но ты мне поднесла, на золотом подносе, всю себя, с потрохами. Не зря я в тебя приехал! Он бежал по городу на круглых резиновых ногах, мимо него бежали дома и лица, и он хотел смачно плюнуть в лица всех людей внутри снежного вечера, ведь они были такие маленькие, жалкие, а он был такой важный, драгоценная птица павлин с развернутым на весь Кремль сине-золотым, зеленым хвостом. Зал раскрыл объятия. Он целовал воздух многозубыми улыбками. Раздавал их налево, направо. Он слышал невнятный шепоток: такая изумительная живопись и такой, мягко выражаясь, дурак! Он же необразованный, тупой как пробка... он же ни одной книги не прочитал, это видно за версту, он же... он же... Картины висели по стенам. Стояли на мольбертах, укрытые тканями. Белые простыни сдернули. Обнажили огонь. Все восторженно вскрикнули и бурно захлопали. Шампанское лилось

и проливалось на паркет, пузырилось. Звон, стон стекла. Смешки и возгласы, музыка залов, предчувствие сделок. Вся жизнь — сделка, разве не так, опытный вор? Он шарил по залу глазами. Предчувствовал. К холстам, нагим и ярко горящим, с другого конца зала подгробал старик. Марка обдал изнутри кипятком. Лицо старика, оно же с портрета! Вон с того, что у стены, на мольберте. Деревянные ноги мольберта сами пошли. Мольберт пошагал к старику. Старик еле заплетал ногами. Он шел и шел, путь все не кончался. Мольберт подошел к старику быстрее. Вот они уже стоят рядом. Вот уже старик вздымает седую тощую бороденку, и Марк видит: это же его отец!

Отец. Забытый.

Зачем он здесь?

Некогда задавать вопросы. И некому. Старик с трудом поднял руку, подтащил ее к поверхности холста и поковырял нашлепки краски ногтем. Народ перестал говорить. Бокал с шампанским опрокинулся, выпал из рук. Осколки летели вбок и вверх, медленно падали на паркет. Хрустели под каблуками. Старик, с головою, обвязанной полотенцем, будто после бани, как из больницы сбежал, пиджак расстегнут, под ним старый, в заплатках, военный френч, все царапал ногтем холст. Рука упала вдоль тела. Обернул лицо. Глазами нашел Марка. Марк, с глупым бокалом в пальцах, глядел на старика; потом озорно поднял бокал ко лбу и поглядел на безумца сквозь желтое вино. И вино — выпил. Старик глядел, как дергается кадык Марка, пока он пьет. Марк выпил бокал до дна и жажнул его о паркет. Морозные осколки. Вечная зима. В гробовом молчании старик стащил с башки тюрбан. Его маленькая лысина смугло блестела в свете люстр и софитов. Пушистые серебряные волосы разлетались вокруг сморщенного печеной грушей лица. Славка, это же ты, ты воскрес, сам себе сказал Марк, и только он себя услышал. Старик вытер потное мятое лицо ладонью. Узловатый, скрюченный его палец прямо и жестоко указывал на Марка, и все головы обернулись к нему. Раздался голос. Марк предчувствовал, что он раздастся. Молчание подошло к пределу.

«Вот он! Да! Он! Он все это своровал! Все! Все картины! Все до одной!»

Люди превратились в нелепое, стыдное тесто. Время мяло их в жестких бесстыдных пальцах. Вскрики, ахи, ругань. Опять замолчали. Ждали. Старика обступили, как старого, умирающего гиббона в зоопарке, в тесной клетке. Теснили к холстам. Старик вжался спиной в ярко, жарко светящийся холст. Холст всеми масляными шипами, выступами и выгибами карябал ему спину. Подслеповатые, рыбами плывущие глаза старика, глубоко запавшие под череп, искали, бегали по чужим лицам. А старик был родной. Он был родной Марку, и Марк это знал. Предчувствие стало знанием. Не надо ничего объяснять. Все уже случилось. Старик раскрыл лягушачий рот, растянул губы до ушей и крикнул, и старческие синие жилы на его тощей закинутой шее напряглись и вздулись узлами.

«Это Славкины картины!»

Ринуться к старику. Зажать ему рот рукой. Ты что, спятил?! Старик отдирает его руки от сморщенного, запеченного в печи времени лика. Нет. Не сошел я с ума. Мне сказали. Я не верил. Но я увидел. Все правда. Ты своровал Славку. Всю его жизнь. Я эти картины наизусть знаю! Он когда очередную заканчивал, мы с ним выпивали. Как тебя сюда пустили? Пустили вот. Пусти меня! Не пущу. Заткнись! Не заткнусь. Я теперь буду на каждом углу о тебе кричать! Славка, ведь это друг мой! Брат мой, а я тоже художник! А где Славка? Где?! А?! Убил Славку?! Ответишь! Гад! Молчи. Иначе я убью и тебя. Пристукну в подворотне, как выйдем отсюда. Да ты отсюда не выйдешь. Я тебя в каталажке сгною. Это я тебя сгною! Ты — вор!

Жилы опять надулись. Крик рвался вон из старика, и Марку не под силу было затолкать его внутрь.

«Он все украл!»

Марк встал впереди старика. Закрыв его телом. Будто от выстрелов спасал. Люди расстреливали их глазами. Чьи-то рты уже кривились в ухмылках. Любопытные собирали скорую жатву. Пули глаз летали по залу. Отскакивали от потолка, от стен с лепниной рикошетом. Марк разинул рот. Ему надо было лживым воплем перекрыть крики старика. Воздух горячим дымом втек в его ноздри. Задыхаясь, он крикнул, и собственная глотка показалась ему ржавой железной, подземной трубой.

«Это не я украл! Это — у меня украли! У меня! А я — вернул свое!»

Зал взорвался. Голоса полились, растеклись, нефть голосов мгновенно подожглась и ярко, чадно горела, и люди ногами утопали, по щиколотку стояли в говорильном, черном, сплетневом огне. Все задвигалось: руки, ноги и щеки, люди корчили гримасы, отбивали ногами морозную чечетку, хватали друг друга за локти, за плечи, беспощадно трясли, пытались выведать что да как, и зачем так, а не обман ли это, ну да, все обман, кивали людям люди и несли околесицу, что старались выдать за правду; и в уши Марку лезли эти вопли, они огненным хором восстали вокруг него, пылали яркими столбами, пламенными колоннами рушились на него, и он поднимал руки и закрывал лицо от горячего падающего камня, пытаясь спастись, сохранить себя, — не обратиться в кости, в пепел.

«Как это — вернул? Какое свое?!»

«А так! Просто! Я работал! А у меня все мое — стащили! Скопировали! Точь-в-точь! Внаглу! И тогда я... я...»

Ему трудно было кричать: глотка враз охрипла. Выталкивал из себя слова, текла лава, сыпались жгучие камни.

«Я... я... уничтожил...»

Старик опять вытянул узловатый дрожащий палец. Палец раскаленной спицей протыкал грудь Марка.

«Ты! Его убил! Ты сядешь в тюрьму!»

Марк кричал. Важно было кричать. Не останавливаться.

«Я сжег! Сжег! Все холсты! Те! Чужие! Что украли! У меня! Да! Сжег! Все, до нитки! До щепки последнего подрамника! Все! За сараями! На снегу! На задах дворов! Там, далеко... — Сморщил лоб. Все лицо кривилось, корежилось отвратной судорогой. — В том городишке! Где жил мой вор! Далеко! В Сибири! На реке... Лене...»

Набрал в грудь воздуху. Старик опустил корявую руку. Теперь он просто смотрел на него.

«Он предал меня! И я...»

Старик глядел.

«Я забыл его имя!»

Полотенце лежало у ног старика, обращалось в маслянистый, резко и больно сверкающий атлас. По атласу тускло и ярко сверкали, выпускали наружу лучи краденые самоцветы. Камни, что жили в земных недрах, тешили людей. Развлекали. Люди в зале толпились вокруг старика и Марка. Они ужасались и развлекались. Цирк не кончался. Надо было его кончать.

«Забыл! И не вспомню никогда! И не вспомнит никто! Потому что воров не помнят! А помнят, венчают на царство — только нас! Настоящих! Подлинных!»

Осмелился. Все-таки выкрикнул это.

«Нас! Гениев!»

И тут все загудели. Заурчали, завизжали. Все впали в истерику. Летели порванные ожерелья. Рассыпались по паркету жемчуга. Рвал уши дикий свист. Кое-кто кого-то бил, быть может, сильный слабого. Люстры ярко пылали, но люди зажгли свечи и несли их в руках, тащили, грудили огни, высоко вздымали их над головами, будто хотели как можно ярче осветить оболганные, странные картины, в безжалостном свете

понять, что в них подлинное, а что поддельное. Кто-то крикнул: «Имитатор!» Кто-то вторил ему: «Поганец!» Дама в голубом норковом боа томно откинула кудрявую золотую голову, шептала на ухо ухажеру: «Я его знаю. Это еще тот делец. Он у меня украл...» Не договорила что. Толпа вспыхнула криками, визгами. Старик шагнул к Марку. Размахнулся. Пошечина прозвучала громко, звонко и оказалась тяжелой и постыдной. Тяжело, больно ударил человек человека по лицу. И тот, кто говорил правду, устоял на ногах, а вор пошатнулся.

Не упасть. Уже валюсь! Как плохо, пошло. Камеры снимают. Это скандал. За скандал дорого платят! Кому? Герою? Или тому, кто из скандала готовит лангет, антрекот? Удержаться. Не могу! Никто руки не подаст. Никто в толпе и никому, и никогда руки не подаст! Ты разве не знал? Я знал все. Ты врешь!

Марк падал неловко, тяжело, и старик тяжело глядел на него, глаза его плыли двумя черными мальками на мелководье, они плохо уже видели, его глаза, но они видели вора, и подлеца, и вруна, и наглеца, и еще много всяких имен жизнь могла присвоить Марку, а старик стоял над ним кривоногим судьей, чуть согнув ноги в коленях, ноги наездника, и Марк снизу, уже лежа на полу, увидел: старик раскос, степное у него, дикое лицо, седые патлы висят вдоль щек, а лысину, должно, под снегом и ветром прикрывает островерхая меховая шапка, а носки сапог весело загнуты вверх, и тулуп подпоясан кушаком, и, может, он прискакал в Москву на лошади, на малорослой степной лошадке, ее же снег не сечет, ветер не бьет. Старик отпустил на волю двух рыб своих полуслепых глаз, много красок на веку видали эти глаза, много людей, да такого вора, как Марк, видали впервые. Марк валялся на полу, а этот старик, наглый степняк, сейчас уйдет. Старик плюнул на паркет рядом с Марком, пригладил седенькие жалкие патлы и медленно, кривоного пошагал к выходу из зала. Сорванный с башки тюрбан валялся на полу.

С мольберта на несчастного, на паркете распластанного вора глядела, бешено косилась блестящими глазами женщина: кровать, взбитые подушки, ноги расставлены, живот восстает громадным сугробом — рожает; а рядом, на атласе кресла — корона: царица. Повитухи крутятся возле родильного ложа! Друг дружку с ног сбивают! Неприлично, нагло, без стыда торчат разведенные в стороны круглые, мощные колени. Одеяло откинута. Из живота лезет ребенок. Он лезет в жизнь, и этот кровавый путь, сквозь темноту и сочленения костей, тягостен и ужасен. Плод рвется в жизнь, и, может, он не доползет. Умрет.

Уж лучше бы я умер, чем такое.

Уж лучше бы ты умер!

Марк пытался встать. Старик уходил вон. Он уходил не из зала — из жизни Марка, и жизнь Марка теперь не стоила ломаного гроша. Люди еще кричали и шептались, но утихал гомон, и меж господ сновали слуги со щетками в руках, подметали осколки. Царица, в родах, напрягала живот, тужилась. Повитухи на холсте стояли с белыми, как метель, пеленками в толстых добрых руках. Выгибался потолок терема. Расшитое золотой ниткой одеяло валилось на пол. Голый безумный, горою, живот, голые белые ноги царицы, ее высокая грудь под задранной белой рубахой надвигались с холста на народ. Народ пятился. Перед народом являлась жизнь: она давно умерла, а на холсте она еще не родилась.

Старик толкнул кулаком дверь. Его шаги раздавались на мраморной лестнице. Ему позволили уйти.

Изловите его! Свяжите, пытайте! Он обогал меня!

Он правду обо мне сказал.

Марка подняли за ноги и под мышки перенесли на пуфик. Брызгали ему в лицо водой. От бархатного пиджака смертельно пахло скипидаром. Боже, как обидели худож-

ника! Гениального мастера! Он же бессмертен! А этот старикашка, кто он такой?! Послать за ним, пока далеко не ушел! Схватить его! Допросить! Есть люди, они разберутся!

Марку вытерли мокрое лицо его кружевным, из нагрудного кармана выдернутым платком.

Не надо, не хватайте его, не мучьте.

Почему?! как раз надо схватить! Он же вас так очернил! Просто пригвоздил! Он вас, простите, просто распял! Распятый художник — это же поразительно, это же просто чудовищно! Он — вас — грязью поливал! Негодяй! Нет, послать, послать за ним! Хватайте его, он не успеет убежать!

Марк весь подался вперед, выпятил грудь. Оперся локтями о пуфик, пытался встать. Пытался крикнуть, но голос не сразу повиновался ему. Трудно было вымолвить то, что он он хотел сказать.

Пожалуйста. Прошу вас. Не трогайте его.

Да кто он такой, что вы так его защищаете?! кто?!

Марк закрыл глаза.

«Это мой отец». <...>

СОСЕДИ

ХОСПИС

По всему коридору медной ладьей плыло биение часов: девять... десять... одиннадцать... двенадцать... — и в открытой двери палаты, как под крышкой кастрюли, клоко-тал, задышался кипящий кашель.

Надсадно, надрывно, будто в последний раз, кашляла женщина, жадно ловила ртом воздух.

А может, и правда в последний раз.

Коридор пуст. Никто не спешил утишить одинокий кашель.

Поздний час. Слишком чисто вокруг, все блестит. Намыто, надраено. Или так кажется?

Ночью всегда все не так, как днем. Все — кажется.

Каморка кажется дворцом. Дворец — халупой.

Смирно висящая на стене икона кажется грозным, с тучами и золотыми молниями, окном в небесное безумие.

Женщина идет по коридору к женщине. Живая женщина — к умирающей.

Живая — главная здесь. Она раздает команды. Устала их раздавать.

Главный врач хосписа, ответственная за смерти.

За смерть.

Тучей за ней клубится, летит ее родная мошкара: медсестры, медбратья.

Они летят за тобою в твоём воображении, Заряна. Они тебе мнятся, снятся.

А по-настоящему ты одна ночью идешь по коридору, и тело твоё, грузное, мощное, переваливают с боку на бок твои ноги-лапы, огромные, крепкие, как у мужика-дровосека. Иди, иди. Она кашляет слишком уж страшно.

Заряна вошла в палату, когда старая женщина, с белыми волосами, будто вьюгой обхвачен выпуклый, медно горящий под белизной лоб, выгнувшись на койке коромыслом, вертела головой по подушке туда-сюда. Будто хотела просверлить подушку мокрым горячим затылком.

Старуха чуть, узкой щелкой, приоткрыла глаза, приподняла железные веки и увидела другую женщину. Другая смутно белела в палате без света. Медленно двигалась от двери к ней.

— Прочь, — прохрипела лежащая, — уйди, сволочь... я не хочу тебя... не надо... не на...

Сволочь-смерть, пронеслись в ее мозгу последние слова, это за тобой сволочь-смерть пришла, а ты не хочешь с ней. Ты еще хочешь здесь. Вот тут. Кашлять и задышаться. Но — не уйти.

Рано еще уходить! сегодня — рано! не хочу! не буду! не...

Лежит голая, сдернула с себя все до нитки. И как ухитрилась стащить? Халат валяется на полу. Трусы в ногах. Ноги худые, а живот толстый и отвисший. Когда-то был красивый. Художники ее голую писали. Вены на руках веревками вздуваются.

Белая женщина подошла к голой. Положила ей руку на лоб.

Губы белой шевелились.

Молитву читала? Успокаивала? А надо ли?

«Пока мы живы, мы успокаиваем себя. И друг друга. Что этого никогда не случится. Что это произойдет со всеми, но не с тобой. Не с тобой. Нет: с тобой, но не со мной!»

Голая разлепила веки. Смотрела на белую, и зрачки плавали.

— Сгинь, — отчетливо, вполголоса выдавила.

Белая отняла руку от влажного скользкого лба. Все сморщенное лицо лежащей старухи почудилось белой женщине громадной, покрытой зеркальной слизью улиткой.

Она хотела выбросить ответное слово из сжатых зубов — и не смогла. Слова кончились.

Люди вообще мало говорят. Особенно когда приходит ЭТО.

Она, почему смерть — она? А как у других народов?

Смерть, память. Мать. Все очень близко, не разлепишь.

Белая села на край кровати. Взяла седую голову старухи в ладони, и голова тянула руки вниз, оттягивала, страшно тяжелая, дрожащая. Тихо, ты ее потревожишь. ЕЕ?

Ясно. Все ясно. Яснее некуда.

Ты же не первый раз видишь ЭТО. Зачем же ты плачешь?

Влага, мелкая, как древние дикие монетки, забытые, раскопанные в гробницах, в заросших бурьяном курганах, по-древнему, обычно и просто, страшно катилась по морщинистым щекам. Сама-то старуха уже. А туда же. Царить хочешь.

Уйти, уйти давно пора. Уйти отсюда.

ОТСЮДА?!

Нет. Не сейчас. Не сейчас!

«Я должна проводить. Всех — должна. Но эту!»

Она подумала о лежащей цинично — «эта», как о пленнице дров, как о доске, о бревне.

Вещь. Человек — вещь в руках более Сильного. Сильный наиграется и бросит. И разобьешься. И все полетит в стороны, прахом и осколками: мечты, воля, дела, предметы, что старательно, потея, наработал; поцелуи, ссоры, дети.

Дети?!

Лежащая странно, угловато приподнялась на койке на локтях. Локти скользили, не могли хорошо упереться в матрац.

Белая, грузная, неловко, медленно натянула на голую холодную сырую простыню.

— Ты...

Молчание забило горло серой ватой.

Седая женщина под простыней угловато подняла колени-кочерги, и простыня приподнялась белой пирамидой. Повела головой вбок, и голова неуклюже скатилась с подушки. Тяжелая стриженная кегля. Здесь всех, кто пожелает того, стригли; раз в месяц.

Иногда те, кого стригли, плакали: последняя стрижка.

Лежащая под простыней попыталась поднять голову. Голова старалась заполнить на подушку. У нее это не получалось. Тогда белая взяла голову голой и нежно, бережно положила ее в теплую пуховую ямину; и голова успокоилась, затихла, и глаза закрылись, веки чуть дрогнули.

Белая глядела на голую, и к горлу подкатывала тошнота.

Это был не каприз кишок. Не физиология. Ее мутило сначала от ясного сознания, а потом и от бессловесного чувствования того, что тут совершалось бесповоротно, навек.

У голой еще раз дрогнули веки, и она опять открыла глаза.

Глаза внезапно стали огромными, страшными, стремительно полетели, укрупняясь, впереди далекого лица, и так близко оказались с лицом белой, что она отшатнулась.

— Ты пришла...

Из горла голой старухи вырвался странный клекот, будто рвали жесткую плотную простыню на лоскуты, мощными руками, зубами. И хрустела ткань.

Голая попыталась выпростать из-под простыни руки. Руки уже стали такими дикими, слабыми, они прятались вдоль тела, по бокам, как звери в кустах, как змеи за камнями. Они понимали, что спрятались навек.

А глаза все летели впереди лица, и все увеличивались, и все расширялись.

Все страшнее и страшнее.

Белая встала с койки и отошла на шаг. Еще на шаг.

Она понимала, что никуда не убежит. Что ей суждено стоять возле этой койки всю оставшуюся ей, всю сужденную жизнь.

И страшно ей стало.

Она не захотела такой жизни.

Да ее никто не спросил.

Все вышло, как вышло.

«Что-то надо сделать сейчас. Что-то надо быстро, немедленно сделать».

И она быстро, мгновенно, будто ноги подломились и она упала, встала перед койкой на колени.

По простыне к ней поползли угрюмые руки. Смуглые, с обвисшей, сморщенной, как выжатая мокрая тряпка, кожей, темные на бязевой белизне.

И белая протянула по простыне руки.

Руки медленно двигались навстречу друг другу.

Проходили минуты, года и века.

Наконец руки встретились. Белая дернулась, как от ожога. Голая содрогнулась под простыней. Губы ее разлепились сырой, безжалостно смятой глиной.

— Ты... все-таки...

Она хотела сказать: «пришла за мной», но не смогла, зубы блеснули за раскрытым в полуулыбке-полуплаче темным, запекшимся ртом.

Белая накрыла руками руки голой и крепко, горячо, больно стиснула их.

Так стояла на коленях, как в церкви перед иконой. Колени болели.

На койке в отдельной палате хосписа, ночью, как это обычно и бывает у людей и зверей и всего живого, страшась и проклиная, теряя сознание и снова на миг обретая его, умирала ее мать.

Русудан Мироновна всегда считала себя красивой. Даже слишком красивой. Таки-ми красивыми люди просто не могли быть. А вот она такую родилась. С юных лет она любовалась собою в зеркале, поворачивалась перед зеркалом, разглядывала себя и анфас, и сбоку и, беря в ладонь маленькое зеркальце, исхитрялась увидеть свою спину

и затылок — с толстой и пушистой черной косой, с узкими прямыми плечами, а шея такая длинная у нее была, что бус не хватало ее обкрутить.

Ее красоту не понимали никакие люди, среди которых она жила свою жизнь.

В нее, теряя голову, влюблялись, она посещала мастерские художников, и художники писали ее с натуры, нагуло, и она тихо гордилась этим: вот она как Венера перед зеркалом или Даная под золотым дождем; и однажды она, как ни берегла себя, все же поддалась напору чужой страсти; мужчина, получив свое, не женился на ней, а на диво быстро и трусливо убежал от своего красивого счастья; Русудан, обнаружив живот, не вытравила плод, благополучно родила. Хорошенькую девочку; и думала — красавицу, в себя.

Но иная кровь коварно проникла в ее кровь, зародив в ней чужое печальное уродство: не просвечивало никакого изящества в бедной девочке, она уже с детства набирала вес, росла смешной и грузной, как тюлень, топала могучими ногами, шлепала по воздуху руками-ластами. Русудан приходила в отчаяние. Она орала дочери: «Не жри так много!» Била ее по щекам, когда дочь лезла в буфет за сладостями. Била по рукам, когда за праздничным столом руки Заряны тянулись к лишней ложке салата, к зефиру в хрустальной вазе. Выгоняла ее по утрам во двор — обливаться холодной водой из ведра. Заряна, в нищенском купальнике, оставив глаза в землю, выходила во двор, вставала к песочнице, и весь дом преникал к окнам, наблюдая, как несчастная толстая девчонка, покрываясь на ветру гусиной кожей, выливает на себя ведро ледяной воды: «Олимпийские игры начались!» Сажала дочь на хлеб и воду, на одну зелень, как корову или козу. Все напрасно. Тюлень оставался тюленем. Жир никуда не исчезал. Мать больно щипала дочь за ягодицу и шипела: «Срезать бы к чертям этот жуткий окорок! И закоптить!» Соседские дети дразнили девчонку тушей и баржей. Какие там мальчишки! В институт бы поступила. «Мозги-то хоть у тебя есть?! Есть?! Жиром не заплыли?!» Толстуха училась хорошо, сцепив зубы. Сдала экзамены в медицинский. «Я стану врачом и сама себя вылечу!»

Русудан Мироновна так и не вышла замуж. Она старела и злилась. Зеркало безжалостно отражало бесповоротный путь. Волосы седели, вываливались из пучка. Ресницы выпадали. Тени для век с золотыми блестками и ягодная иностранная помада помогали все хуже. Зло сгущалось в ней, лилось наружу черной липкой смолой. Дочери она не давала шагу шагнуть. Она так и норовила ее обидеть. Унизить. Растоптать. Ей доставляло неслыханное удовольствие крикнуть ей, усталой, вымотанной пациентами в край: «Погляди на свою рожу в зеркало, жаба! Краше в гроб кладут!» Заряна нахально раздевалась на глазах у матери и, голая, направлялась в душ. И целый час стояла под душем, глотая воду, глотая слезы. А потом выходила из ванной, распаренная и мрачная, и пила на ночь пустой чай.

Ты зачем, зачем брызгаешь душем на пол?! и не подтираешь потом! Носом тебя, носом в грязь твою, как паршивого котенка! Ты зачем часами болтаешь по телефону?! Что, богатая такая, за телефон платить?! И за свет, жжешь свет недаром, какие жировки приходят, уму непостижимо! Ты что думаешь, мы дети Рокфеллеров?! Ах, ты ничего не думаешь?! А надо думать! Значит, ты безмозглая скотина! Да ты вообще скотина! Ты только жрешь и пьешь! Ах, ты врач?! Врач, подумайте-ка! Какой ты врач! Так, врачиска! Подвизаешься, суетишься около медицины! Где уж тебе стать врачом! Настоящих-то врачей — я видала. А ты — никогда! Сейчас не на врачей учат, а на рвачей! Профанация вся нынешняя медицина! Только бы деньги с больного содрать! Только бы выгоду свою поиметь! А остальное вас не касается! Вам на больного плевать! Вы его — с радостью — уморите! Да, да, вы ваших больных, врачи-уроды, пачками отправляете на тот свет! А безропотный больной — он что?! Он даже вякнуть не смеет!

Когда в их городе открыли первый хоспис и Заряну назначили его главным врачом, Русудан Мироновна как с цепи сорвалась. Она орала так, что слышали все соседи и вся улица: лето, жара, окна настежь раскрыты, и басовитый, хриплый голос стареющей скандальной дамы вылетает на улицу, как огнедышащий змей. Ах ты, сволочь! Ах ты, дрянь! Пролезла все-таки! В начальницы подалась! Чем место это купила, а?! А ну-ка признавайся! Передком или задком?! А впрочем, у тебя что передок, что задок, разницы нету! Есть, есть там и у вас в горздраве такие мужички, извращенцы, что жирненькие окорочка любят, наяривают, и с нашим удовольствием! А ты и рада стараться! Услужила! Знала, дрянь, за что стараешься! Местечко — заслужила! Честно отработала! Ну, ну, и что же ты теперь будешь делать, а?! Над смертью — начальница, а! Видали ее такую! Мало ей жизнями распорядиться, так она смертями владеть захотела! Наглая какая! Смотрит на мать и не краснеет! Хоть словцо в свое оправдание выдала! Зубы сжала — и как немая! Мимо матери зырит! Это так она, значит, мать презирает! Люди, вы видели когда-нибудь, чтобы дочь так презирала свою мать?!

Русудан Мироновна набрала в грудь побольше воздуха и выдохнула уж совсем непотребное, сама от себя такого никак не ожидала: хоть бы ты там, сволочь ты редкая, в этом своем новоявленном хосписе, сама взяла да померла, что ли!

Заряна закрыла рот ладонью. И так смотрела на мать.

А мать осовело глядела на дочь.

И так они друг на дружку глядели и молчали.

Утихли крики. Утихло все: шторы, качаемые жарким сквозняком, и шорох листвы, и возгласы прохожих за окном, смолкли гудки трамваев и машин, замерло, застыло все, что двигалось, дрожало, говорило и пело. Мать вслух пожелала, чтобы дочь умерла. И мир напряженно прислушивался к дрожи воздуха после звучания этих слов.

Как часто люди желают друг другу смерти! Да, часто. Они только тщательно скрывают это. В ответ на обиду; в ответ на причиненную сильную боль. В ответ на пощечину, живую или словесную. Словом можно воскресить, а можно и казнить; древние народы знали это, и часто противники убивали друг друга не на ристалище, а ядовитой, гадкой клеветой. Но есть вещи пострашнее клеветы и наговоров. Страшнее наглого, в лицо, жестокого вранья. Это когда родной человек желает смерти родному человеку. Дочь заливается слезами и сжимает кулаки, глядя на мать: ах, чтоб ты сдохла! сдохла! меня от себя освободила! — а мать в это время, руки в боки, вопит: ты, гадина, шалава, дешевая подстилка, я отравлю твоего хахаля, пьяницу, в вино ему крысиный яд подсыплю! А всего-то греха у дочери было — сидели с мальчишкой на лавке во дворе, из бумажного стаканчика ркацителю пили. И нежно за руки держались. И даже не целовались.

Ах, чтоб ты сдохла... сдохла... чтобы ты умерла...

Господи, Ты есть, — сколько же на небесах ты горьких, страшных исповедей услышал — о том, что пожелал я смерти брату своему, что вот пожелала я мучительной смерти матери своей! Бедная моя мать! Да, она била меня. Да, измывалась надо мной! Но ведь в ней и во мне одна кровь. Одна красная река в нас течет. Один огонь мы внутри носим. И передадим его детям нашим, внукам. Тогда зачем я ей смерти желаю? Так ли велика обида моя? А ведь велика, если я родному существу смерти хочу! Неизбывна! Ничем ее не залечу. Рваная рана! И болит, и кровит. Зашивали уж! А нитка рвется! И кровь опять течет! И горит рана моя огнем. Не заживет никогда!

Никогда? А может, завтра?

А может, через минутку?

Люди, чтобы умер тот, кого возненавидели они, лепят фигурку из глины или вырезают из бумаги, и прокалывают ей сердце иголкой, и режут ножами, и бормочут над

нею колдовские заклинания. Смех, детский сад? А если от такого укола иглой в смешную игрушку тот, кого ненавидят, и правда умрет?

Услышав пожелание смерти себе из уст матери своей и постояв так с минуту, с приклеенной ко рту ладонью, Заряна тихо оделась и, не говоря ни слова, ушла из дома.

Целый день она бродила по городу. В хоспис к себе не пошла. Пусть оборвут телефоны. Пусть разыскивают ее с собаками. Ее сегодня нет, просто нет для мира живых.

Она все всем объяснит завтра. А сегодня не надо. Сегодня надо просто молчать. И не жить. Слоняться, ходить, переставлять мертвые ноги мертвого тела. Мертвые сраму не имут, и она тоже. Она сегодня мертвец. Ее мать пожелала ей смерти. Наконец-то.

Хоть на один день, но умереть, выходит, так надо.

Когда Заряна вернулась домой, дом встретил ее молчанием и холодом.

Дом был пуст. Мать исчезла.

Ни записки. Ни собранных вещей. Чемоданы на месте. А, сумочки материной нет. С паспортом и деньгами.

Заряна села на диван. Он страдально зазвенел всеми ржавыми пружинами под тяжестью ее слоновьего тела.

Ничего, погуляет и вернется. Как я. Я же вернулась.

Пришел черный вечер, потом ночь; мать не вернулась.

Заряна уснула на скрипучем диване одетая.

В шесть утра оглушительно зазвенел будильник.

Заряна привскочила и долго соображала, где она и что с ней.

Все поняла, вспомнила. Матери не было. Телефоны молчали.

Она встала, умылась, оделась, выпила чашку кофе без сахара и пошла в хоспис.

Вошла в свой настоящий дом.

Коридор и палаты — обычный коридор; обычные палаты; как в любой другой больнице.

Она шла по коридору, тяжело наступая на чисто вымытый нянечками линолеум толстыми, в три обхвата, ногами. Медленный, тяжкий, мерный шаг. Будто статуя сошла с пьедестала и идет. Тяжко движется.

Мертвая статуя, и вот ожила, и вот идет.

Где-то, за стенами хосписа, идет жизнь. А здесь умирают.

Сюда приходят только умирать.

Лишь умирать, больше ничего.

А больше ничего в жизни и нет; жизнь — это дорога в смерть, и когда это понимаешь, душа плачет, а мысли текут спокойно и горько. Утекают в никуда.

Смерть, никуда и ничто.

И, главное, никогда.

Заряна тяжело переступала по коридору слоновьими ногами, переваливалась с боку на бок, неся свое угрюмое, необъятное тело скорбно и горестно, обреченно; иной раз ей надоедало его таскать на себе, на своих слабых костях, и тогда она шептала: ну хоть бы сдохнуть поскорее, что ли. Так она сама желала себе смерти, и осекалась, и жмурилась, и у Господа, в которого верила смутно и слабо, просила невнятного, нежного и робкого прощения.

Она нажала рукой на ручку двери. Открылась дверь в палату. Тут лежали две женщины — молодая и старая. У кровати молодой сидела беременная на сносях, ее высокий живот дышал, двигался и плясал. Брюхатая держала руку молодой и наигранно-весело глядела в худое, иссиня-бледное лицо на подушке, на круглую лысую голову.

— Лапочка, ты только не переживай, — чирикала воробьем брюхатая, — мы тебя сюда заложили не для того, чтобы... Ну, одним словом, не для... Ой! Заряна Григорь-

евна! — Вскочила. Живот колыхнулся и замер. — Нам сегодня лучше! Правда, лучше! Мы, глядишь, скоро выпишемся отсюда! В обычную больницу!

Заряна обняла лысую глазами. Рак позвоночника четвертой стадии. Борьтсья не можем, бессмысленно. Боль уничтожаем наркотиками. Скоро конец. Брюхатая, совсем еще девчонка, судя по всему, ее сестра.

— Посидите еще немного и... Процедуры, уколы. А вам, — кинула взгляд на шевелящийся живот, — созерцать это не полезно.

— Я сейчас, — щебетала брюхатая, — я еще немножко...

Заряна подошла к другой койке. Старая больная поглядела на нее ясно и строго. Ее глаза знали всю правду и правду говорили. Они говорили: я скоро умру. И утешать меня не надо.

Заряна наклонилась к умирающей.

— Вы знаете, — она взяла костлявую, легкую старую руку, — я очень боюсь смерти. Да, так, вот так, все называть своими именами. Говорить правду вслух.

Больная тихо улыбнулась. Углы ее губ приподнялись и застыли.

Улыбка впечаталась в ее рот намертво. К посылке в небо — почтовый сургуч.

— Да что вы говорите? — Голос звучал насмешливо и нежно. — Я тоже.

— Видите как, — Заряна покраснела, ей стыдно было своего здоровья и тяжелого грузного тела, — мы с вами боимся одного и того же.

Больная заправила седую прядь за ухо. Другой рукой слабо пожимала руку Заряны.

— Я, наверное, боюсь не того, чего боитесь вы. Я боюсь, что я... не готова. А это ведь большая тайна. Она... — морщинистый, обвислый подбородок задрожал, — священна.

— Да, — кивнула Заряна, — священна.

Оглянулась, будто ее подслушивали. Ей показалось, в палату вошел человек, неслышный и невидимый. Не человек, а марево, и просвечен насквозь пучками солнечных лучей из немытого окна.

«Окна вымыть. Приказать волонтерам».

— Мне страшно, — беззвучно, губами, произнесла седая женщина.

Теперь уже Заряна сказала:

— Мне тоже.

Склонилась и нежно, осторожно коснулась губами тощей, в набухших венах, руки больной: кости просвечивали сквозь истонченную кожу.

Она целовала живую руку, как целуют икону.

Поцеловала, прикоснулась лбом, потом снова прижалась к руке губами.

И только потом выпрямилась.

Выйти из палаты. Прикрыть глаза. Не дать вылиться слезам. И так каждый раз. Это каждый раз здесь. Невозможно удержаться.

«Зачем я пожелала матери умереть? Вот она пошла и умерла. Ушла из дома и умерла где-нибудь на вокзале. Или под мостом. Или на скамейке, на остановке. Смерть — остановка! Туда все приходят, чтобы — уехать. И чемодан с собой в дорогу не берут. Незачем. Вещи там, куда едут, не нужны. Ты сам там будешь вещь. Косная материя. Кости, мощи. Что я вру себе. Мощи — это у святых. А никто не святой!»

Вдруг прошиб стыдный пот, изумление обняло ее и затрясло: и даже святые — не святые, они все были когда-то грешниками, вот она знает, Мария Египетская блудница была, и император Константин, сын царицы Елены, убийца, сколько народу перебил в боях и казнил на площадях, а потом вдруг он — да и святой. Почему?! Разве достаточно уверовать, чтобы превратиться в святого — и умереть с честью, со славой?

«Господи, что я несу. Прости, Господи. Я не святая, да. И никогда в нее не превращусь. Тем более моя мать беглая, несчастная, не превратится. Она меня по щекам била! И ремнем, вперехлест! Вера, вера... Значит, веруй, всего лишь, и будет тебе сча-

стье?! Да, сейчас! Разбежались! Сколько здесь у нас... истинно верующих... умирает в безвестии, в слезах... страдает страшно... забытые, брошенные... всеми, и родными тоже... И — в муках умирают, в душевных муках... твердят: мы грешники, грешники насквозь, нам страшно, страшно... А я их успокаиваю. И онкологи успокаивают. И терапевт наш, Леша Сеницын, с вечным фонендоскопом на груди, как с серебряным ожерельем, мотается по палатам, гладит их, бедняжек, по мокрым щекам, утешительно шепчет: вы хорошие, хорошие, и вам там будет хорошо, тихо и спокойно, вы как будто уснете, ну что вы боитесь!»

Коридор вспыхивал, стены качались, пол кренился и выпрямлялся опять. Может, это высокое давление. Надо каптоприл под язык. И все пройдет.

«Три к носу, и все пройдет. Так ребятня шутила в детстве, во дворе. А мне кричали: тюлень, жирный тюлень, как жрать тебе не лень!»

Отворила дверь другой палаты. Здесь лежали мужики. Эх, мужики, кончается ваша жизньешка. Четверо мужиков, один из них доктор. Собрат. Иногда его навещает тоже доктор; лысенький такой, и умирающий таким красивым именем называет его, Господи, она забыла, а, вспомнила, Матвей Филиппыч. Она еще спросила больного: а ваша родня какой доктор? терапевт? или узкий специалист? Он мне не родня, ответил больной, просто мы старые друзья, вместе учились, а так он хирург, хирург от Бога, лучше у нас в городе нет хирургов, я не знаю, работает он сейчас или уже нет, знаю только, тысячи жизней спас. Матвей Филиппыч приносит больному доктору сетку апельсинов. Всегда — сетку отборных, сияющих, тяжелых апельсинов. Кладет на пол, под койку и на полу, когда уходит, забывает. Нянечка ругается, вытаскивает из-под койки апельсины, моет под краном и раскладывает на тумбочке.

— Товарищи-господа-друзья-мужчины, здравия желаю!

Нарочный бодрый голос; как в армии; зачем она с ними сегодня так?

Надо, как всегда: тихо, просто, печально. Смерть не любит площадных увеселений.

— Здравия желаем, товарищ военврач!

— Какой я военврач?

Уже смеется.

— А как же! На войне как на войне! Вы-то с нами тут замучились! Не хуже, чем на поле боя! Нас на себе... в смерть... перетаскиваете... на своей спине...

Смерть — ее собственным именем называют. Прямо в лицо. Не страшатся.

Заряна села на ближнюю койку, и панцирная сетка глубоко, почти до полу, прогнулась под ней. Тот, кто умирал на койке, ахнул.

— Граждане, все, лодка! Поплыли! Перевозчик подвалил!

— Ах, водогребщик... приплыл-таки...

— А мы-то думали — чуть попозже...

— Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Заряна, не понимая, что делает, гладила, гладила руки человека, поправляла одеяло, а человек с подушки, из глубины продавленной железной сетки и тощего матраца глядел на нее, глядел, глядел. Их обоих будто кто-то сильный, насмешливый быстро и ловко опутывал сетью. Не распутать ее. Не выбраться.

— Вы, главное, дышите глубже. Мы все тут с вами. И... — она повторила это в тысячный раз, — не бойтесь. Мы вам никто не мешаем. Мы вам сочувствуем. Мы... понимаем вас. И что с вами происходит. Это будет со всеми нами. Поймите, со всеми!

Она возвысила голос. Человек испуганно, потерянно глядел на нее. На то, как шевелятся ее губы.

— Мы уже ничего не поправим. Не изменим. Знаете, что я вам скажу? Вы должны понять, что такое никогда. И принять. Вы никогда больше не пойдете на рыбалку. Никогда не будете жарить мясо на костре. Никогда не... — она все-таки выговорила

это, — ляжете спать с женой. Никогда, понимаете? Ваше вчера, оно ушло. Убежало. Ведь молоко с плиты убегает! Завтра... Оно у вас, может, еще будет. А может, уже не будет. У вас есть сегодня. Сейчас. И сейчас вы живы. Ваше сейчас — это... это... ваше всегда.

Человек вздохнул. Седой пух на его голове встал дыбом.

— Что вы мне все врете тут, доктор.

Заряна тяжело вздохнула. Больше ничего не сказала; опять гладила, легко и судорожно поглаживала чужие плечи, руки.

Потом встала с койки. Огляделась. Все мужчины пристально и настороженно смотрели на нее. Будто она была циркачка и сейчас отколет смертельный номер.

— Все слышали? — Чувствовала себя училкой в классе, где сплошь малышня. — У всех есть только сегодня! Никакого завтра — нет!

Молчали мрачно. Обдумывали эти слова.

У двери койка. Там лежит старик. Он без перерыва трясется. Будто он лежит в рефрижераторе, как мясная туша. Его привезли с обморожением. Дочь, пьяница, раздела его догола и открыла настежь балконную дверь. Снег летел в комнату. Дверь, чтобы он не вышел, приперла комодом. Соседи позвонили им, в хоспис. Заряна поехала на вызов с онкологом и терапевтом. Снаружи богатый дом, балконы отделаны гранитом, мрамором, подъезд малахитом обложен, а дверь открыли — свалкой пахнуло. Переступали через мешки, картофельные очистки, старинные баулы, древние сундуки. Пьяная баба маятником шаталась перед ними. Заряна указала на дверь, припертую комодом: открывай! Дочь крикнула: сами отворяйте! — и показала язык. Врачи отодвинули комод, его ножки провизжали по мраморному полу. В спальне, поперек широкой кровати, на голой клеенке раскинул руки и ноги голый человек. Моча затекла ему по клеенке под спину, под шею, под седые лохмы. Он царапал клеенку длинными звериными ногтями. Бормотал и плакал без слез. Заряна закричала, сходя с ума: жив еще, жив! хватайте, тащите в машину! Онколог Митя Звонарь и терапевт Сеницын подхватили старика, понесли, легкого и уже почти святого, мученика безвинного, вон из квартиры. А дочь стояла в открытых дверях и вопила на весь подъезд: да, да! тащите, тащите окаянного! жизнь мою заел! урод! Он же меня в кладовке запирает, без еды, к двери подходил и ехидно цедил: ну, как ты там, царевна Несмеяна?! что ж не ревешь?! пореви! а я послушаю! Я рыдала, и дверь трясла, и телом выламывала, а толку! На весь дом орала, в стенки пустой бутылкой стучала, бутылку разбила, руки поранила, никто не пришел меня спасти! Погибала! С голоду! А он меня выпустит, как пса, покормит отбросами из псиной миски, да на пол ставил, на пол, чтобы я из той миски — лакала! А пожру — под зад меня ногой пнет! И я растянусь на полу, носом об пол, кровь течет! а он подойдет и ногой меня по морде, по морде! И вы еще спросите, отчего он со мной так?! Да ни отчего! Ненавидел он меня, и все тут! Все кричал мне: твоя мать гуляла, гуляла напропалую, изменяла мне налево и направо, ты не моя дочь, не моя! Приблуды ты собачья! А тут у него сердце прихватило! упал и валяется! ну, я его рассупонила да на сквознячок! на морозец! а чтобы быстрее замерз! И все, дура, соседке разболталась! Уж так радовалась, что поганца этого больше на свете не будет! Соседка, дрянь, меня подпоила, я ей все и выболтала! как батюшке, дура! А соседка — не батюшка! Ей, видишь ли, старика жалко стало! ну она вам и звонить! Только я в больницу к нему не приду, не-е-е-ет! Никогда! Никогда!

Они уже к первому этажу подходили, уже парадную дверь отворяли, а пьяная баба все орала. И вот он, тот старик. Оживили его. В чувство привели. Зачем они это сделали? Зачем жизнь, в глазах других живых, обязательно свята? Кто так постановил? Кто так учредил? Почему за жизнь, и только за нее одну, надо так усердно, упрямо

бороться со смертью? Не лучше ли дать смерти волю? Полную свободу? Делай, мол, смерть, что твоей душеньке угодно.

Старик глядел только в потолок. Больше никуда. И мелко, панически трясся. Дрожал, сотрясался; он мерз душой, не телом. Тело — горело. Ему то и дело мерили температуру. Заряна твердила себе: все, конец, это терминальная температура, он из этого жара уже не выберется, скоро начнется Чейн-Стоксово дыхание, и быстро разовьется сердечная недостаточность. Зачем она такая грамотная? Зачем сдавала экзамены, зачеты, где без ошибок выпаливала профессорам, как грамотно надлежит человеку умирать?

Один вопрос не давал ей покоя. Она наклонилась над койкой старика.

— Вы меня слышите?

Трясаясь, он слабо кивнул.

Заряна склонилась ниже.

— Вы... генерал?

Старик глядел белыми, тусклыми глазами.

— Почему вы так мучили вашу дочь? Вы же погубили ее.

«Зачем это я у него перед смертью выпытываю! Я сволочь».

Старик повел головой на подушке.

Заряна склонилась совсем низко над его койкой, придвинула ухо к его впалому рту.

— Я... не генерал... я... ординарец... генерал Карамаз меня очень... любил... у себя... поселил... дочь моя... не моя... жена моя... с генералом... спала... он ей... квартиру отписал... Дочь моя... пьет горькую... это она меня... терзала... истерзала всего... вот... умираю...

Заряна выпрямилась. Мужики в палате прядали ушами. Попытались расслышать, о чем она шепчется со стариком.

Она тихо вышла из палаты, стараясь тише топтать слоновьими своими, тяжелыми ногами.

В третьей палате лежали дети.

Это было страшнее всего.

Дети хотели жить более всех.

И не хотели умирать — сильнее всех.

Слишком заманчивой, вкусной им казалась жизнь, они не успели еще ее распробовать, а ее у них отнимали.

Трое детей. Троица святая. Воистину святая. Еще не успели, не сумели нагрешить.

Три девочки. Вера, Надежда, Любовь и святая их мать София.

Нет, конечно, их звали по-другому, и матери у них были разные, и то только у двух, у третьей никакой матери не было, и никого родных не было, ее привезли из детского дома, запущенная лейкемия, обнаружили слишком поздно. В жизни если что слишком, так это слишком — уже рядом со смертью стоит.

— Ну, как вы тут, родные мои?

«Родные мои. Да, я все правильно говорю».

В ответ — молчание.

Им уже трудно говорить. Они, все трое, уже слишком слабы.

И слишком хорошо знают: все — поздно.

Заряна встала посреди детской палаты и вертела головой, оглядывала детей.

«Господи, какие маленькие. Пять лет, семь и восемь. И таких ангелочков Ты берешь к Себе! Зачем? Разве тебе не хватает Твоих старых ангелов, над бездной Твоей?»

Девочки молча, мрачно созерцали ее; так равнодушно смотрят плохой фильм, скучный телевизор или тасуют равнодушные, сальные, слепые карты.

Одна разлепила губы, вытолкнула из себя с трудом:

— Я уже умираю.

— Нет. — Заряна тяжело шагнула к ее койке. — Ты еще не умираешь. Если ты еще дышишь, еще говоришь — ты живешь. И ты... еще... чувствуешь. Ирочка, Иришенька. — Она поправила на девочке одеяло. — Хочешь поесть? К нам на кухню сегодня привезли настоящую красную рыбу. Форель. Малосольную!

— Форель не хочу, — шелестел голос, — она живая... и плавает... а ее — выловили... и убили...

— Хорошо... хочешь ананас? Резаный, спелый, его жевать легко! Тает во рту!

— Тетя Заряна, — раздался голос с другой кровати, — а Бог в раю тоже ест ананасы? Мне мама сказала — амвросию и нектар! А что, Бог разве тоже голодает, как люди? Он же не человек!

Надо было так ответить, чтобы раз и навсегда все стало им ясно.

— Он — человек, — трудно, тяжело сказала Заряна.

— Как это человек?! — Малышка забила худыми кулачками по одеялу. — Нет! не человек! не человек!

Надо было соглашаться. Та, ближе к окну, старшая здесь, уже плакала, хлюпала носом.

— Хорошо. Да. Не человек. Это я нарочно, для веселья придумала. В виде человека Он иногда приходит к людям.

— И ко мне придет? — плача, еле выговорила старшая.

Заряна наклонила голову. Белая врачебная шапочка сползла ей на лоб.

— Если будешь правильно умирать, — сглотнула горькую слюну, — то и к тебе.

— Подойдите ко мне! пожалуйста...

Заряна подошла, еле перетащила ближе к койке свое необхватное тело.

Смотрела на старшую; хотела радостно, а получалось — слезно.

Старшая девочка, с лейкемией, безволосая голова повязана белым платком, и завязан на шее узлом, так старухи ходят в церковь по праздникам, глазами, тоже всклень налитыми слезами, пытая и спрашивая глазами о чем-то самом важном, и надо успеть спросить, попытаться, через все рыдания и слезы, как через тюремную решетку, тоскливо смотрела на нее.

— А вы... вы мне скажете, когда у меня наступит последний день?

Заряна опешила.

А надо быть готовым к таким вопросам. Всегда.

«Отвечай первое, что в голову придет. Не молчи!»

— Скажу.

— А вы откуда узнаете, когда он придет?

— Я... я-то знаю. Я... у меня...

Она хотела сказать: у меня много таких, как ты, больных тут умирало, но поняла: скажи она так, и девочка отвернется к стене, откажется есть и просто умрет от горя, — и надо было выкручиваться, она, дрожа, вылепляла помертвелыми, холодными губами:

— У меня вот такая же девочка, доченька... как ты... умерла... и я... я знаю.

«Боже! Что я мелю! Я же вру напропалую! Я же гадина, Господи!»

У нее никогда не было никакой дочери. И никакого мужа.

У нее была только злая мать, и она исчезла.

Старшая девочка широко открыла глаза, и слезы живо выкатились из глаз, потекли по иззелена-бледным щекам и затекли под платок.

— Правда? Ваша дочка? Она тоже умерла?

— Да, тоже. Тоже.

— А от чего?

— От... от того же, от чего и ты теперь умираешь.

— А сколько ей было лет?

— Столько же, сколько и тебе... сейчас.

«Господи! Прости меня! Это же святая ложь! Ложь во спасение!»

Девочка глубоко и тяжело вздохнула.

Заряна видела: она перевела дух.

«Все хорошо, Господи, все же хорошо... помоги ей... прошу Тебя...»

— И как она умирала? Ей не было страшно?

— Было. Еще как страшно. Но я была рядом с ней. Вот как сейчас с тобой.

Она подошла к изголовью девочки и протянула руку. Девочка схватила ее руку. Платок у нее под горлом развязался. Сползал на подушку. Голая голова тихо мерцала перегоревшей, мутного стекла, мертвой лампой. Девочка катала голову по подушке. Старалась крепко сжать руку Заряны, а сил не было.

— Но вы ведь сейчас уйдете?

— Да. Уйду.

— Значит, сегодня еще не последний день?

— Нет. Не последний.

— А когда — последний?

— Скоро.

Тут она не могла ей соврать.

Платок белым снегом раскинулся по подушке, и голая голова ребенка лежала на снегу и каталась по снегу, и взблескивали последними слезами глаза, завтра она уже не сможет плакать и говорить не сможет, она сможет только ловить воздух ртом и часто, отчаянно дышать верхушками легких, и никакие капельницы не помогут, никакие внутривенные вливания, они просто продлят ей муки, не жизнь. Где же эта вожделенная сладкая смерть? Нежная, чистая, праздничная, как награда за все страдания? Где тот последний целебный укол, и какой врач его делает, отправляя бессмысленного мученика на тот свет, солнечный и счастливый?

Да, как же, солнечный, держи карман шире. Вечная тьма. Молчание.

Во сне живому хоть сны снятся; тут тебе уже ничего не приснится. Ты был, и нет тебя.

«Господи! Ну что бы Тебе прийти к нам ко всем и во всеуслышание, громко, на весь мир, сказать нам всем: там, за смертью, все есть! Все! Там — целый мир! Новая жизнь!»

— Вы мне обязательно скажете?

— Обещаю.

Девочка вздохнула. Призрак улыбки легко мазнул по бледным щекам.

— Я умираю так рано за грехи.

— За какие грехи?

«Господи, напраслину на себя возводит ребенок! Какие грехи у нее! За хвост кота таскала...»

— У меня дедушка людей расстреливал. Много очень расстрелял. Сюда, в больницу, святой отец приходил. Ну, в рясе. Нас всех исповедовал. И сладким вином поил. А до этого много всего расспрашивал. Про то, как жили наши семьи. Ну мы ему все и объясняли. Кто что плохого у нас сделал. У меня вот дед людей казнил. А вон у нее, — кивнула на соседнюю койку, — отец вообще убил ее мать. Мать у нее играла на гитаре и пела! Артистка. Отец женился на другой. Она с мачехой выросла. Он опять нагрешил, мачеху однажды избил до крови, и она его опять в тюрьму посадила. Он и сейчас в тюрьме сидит. А Маринка здесь вот умирает. Маринка! эй, Маринка!

Третья девочка молчала. Лежала себе и лежала.

Будто ничего не слышала.

Будто не здесь пребывала.

«Верующие истинно — в вечную жизнь за гробом — верят. А я? Почему я ни во что не верю? Потому что я знаю, что человек жесток. Родная мать! Что она всю жизнь делала со мной!»

— Маринка... эй...

Бездвижно лежал ребенок.

— К ней никто не ходит. Она умирает с горя. Она все ждет, что кто-нибудь придет. А никто не идет! Она вчера сказала: вот когда я умру, все ко мне сразу и прибегут.

Заряна подошла к койке Маринки.

— Маринка... Слышишь... ты сегодня как? Позавтракала? Или нет?

Девочка молчала.

— А может, тебе музыку поставить? У меня хорошие записи есть. Ты что больше любишь? Какие песенки? Веселые?

Девочка молчала.

Заряна пошла ва-банк.

— Маринка! Ты скоро умрешь. Уйдешь... на небеса. Может, ты хочешь... что-то свое... ну, самое тебе дорогое... кому-то... завещать? Подружкам... Игрушки! Любимые книжки!

— У нее нет никаких игрушек, — прошептала старшая девочка, завязывая белый платок на лысой голове.

— Мариночка! Я сегодня еще раз позвоню твоей маме. Она придет! Наверняка придет! А может... когда ты увидишь ее... ты возьмешь и выздоровеешь!

Девочка молчала.

Малышка Иришка закрыла лицо ладошками и заплакала.

Горько и громко.

Она плакала от боли.

Заряна вышла в коридор. Громко и хрипло закричала, и голос понесся вдоль по коридору, кипятком затекая под двери, брызгая в оконные стекла:

— Сестра! Быстро! Морфин! В шестую палату!

Лица людей выплывали из мрака. Чернели на белизне. Еще живые, они на глазах Заряны становились святыми и красивыми. Даже уродливые; даже невзрачные. Что просвечивало в них через бугры и выступы плоти? Она не знала этому имени. К Богу она обращалась по общей привычке; потому что все люди всегда к Богу обращались, и она с детства слышала это, даже из уст вечно плюющей ядом матери: «Ах, Господи Боже мой! ах, Боже мой Господи!» Нездешний свет ласкал золотыми ладонями лица, струился из глаз, как слезы, на казенное белье. Мученики. Смертники. Это же как камера смертников. У каждого — одиночная камера. И молча страдают, ждут. Боятся. Сначала боятся; потом отрицают все: вы ошиблись! вы все перепутали! у меня отличные анализы! потом отчаянно восстают, кричат медперсоналу и себе: нет! этого никогда не будет! не хочу! — потом замирают, закрывают глаза и лежат обессиленно, руки вдоль тела. Молчат. Это выдох. Устали. Все поняли. Впадают в оцепенение. В ступор. В полное, лютное безразличие. Не хотят видеть и слышать, что происходит вне их; слушают только, что у них внутри. А внутри — боль и пустота. Пустота.

Тишина. Слишком тихо.

Так внутри тихо — можно оглохнуть.

А потом из неподвижного, ко всему безразличного, твердого как камень лица начинал течь тихий свет.

Будто человек постепенно рождался, воскресал.

Лился из лиц, из-под век нежный свет. Золотой. Лицо преображалось. Новая любовь появлялась в нем. Человек молчал, а лицо его говорило: я все понял, и всех про-

стил, и всех полюбил — заново, крепко. Простите и вы мне, люди, прости мне, милый Бог. Скоро я увижу Тебя.

Не у всех так было. Иные так и костенели в молчаливом покорстве своем.

Заряна уходила вон из палат, а тихие лица в воздухе летели за ней. Она приходила в кабинет, садилась за стол, закрывала ладонями глаза — а лица толпились вокруг, лезли ближе, обхватывали плотно, вспыхивали все жарче и ярче. Нельзя было отбиться от них, отмахнуться. Они висели перед ней и сзади нее плотной золотистой попоной, сверкающей церковной парчой, будто реяли в воздухе празднично одетые батюшки, и, летая, как ангелы, совершали невидимую, неслышимую небесную службу. Вдавливая в пол кресло всей тяжестью своею, она сидела, слепая, и видела лица всех своих умирающих — вот этот вчера плакал горько, а она наклонилась над ним и прижимала его голову к своей громадной, широкой и тяжелой груди, уговаривая, шепотом утешая. Вот эта выгибалась дугой на кровати, ее скручивала судорога сопротивления, неистовой боли, ненависти к миру и к Богу: я так не хотела! а меня туда — насильно волокут! я же никогда не хотела, чтобы так было, и вот это происходит! так будьте же вы все прокляты, все, кто на земле и на небе такую судьбу мне придумал! — а Заряна ловила ее руки, крепко держала, женщина билась в ее руках, потом лежала без сил, пот тек по ее лицу, искусанные губы слабо шевелились. Вот они, плывут на нее и вокруг нее, все эти лица, лица, лица, сто лиц, двести, тысяча, Боже, да это уже и не ее хоспис, это какая-то третья мировая война, ядерный взрыв произошел, развернулся вдали слепящий гриб, и вдале, вкось и ввысь полетели люди, их лица оторвались от них и брызнули в разные стороны, полетели над землей и вот прилетели к ней, окружили ее, кричат безмолвно: мы не хотели так! мы не хотели умирать! а нас всех, туда, в огненную яму, скопом! и поодиночке мы тоже не хотим! у нас у всех, у каждого, свой ядерный огонь и своя ядерная зима! зачем вы нам не говорили, что это случится со всеми?! надо было нам это твердить всю жизнь! с утра до вечера! ночью пробуждать и над ухом орать: умрешь! умрешь! а мы-то ничего не знали, не помнили! мы думали, жить будем вечно!

Нет. Никто вечно не живет. Зачем мы, врачи, лечим людей, если они все равно умрут? Потому что мы милосердны? Не более, чем кошка или собака. Священники, в своих церквах, они что-то такое важное знают о смерти. О человеке; о том, как его надо утешить — Богом. Они слуги Бога, и они знают тайные древние слова. От этих слов молоко и мед разливаются по телу и по сердцу. Мир полон тайн. Смерть тоже полна тайн. Заряна, наблюдая свой хоспис каждый день, прекрасно понимала это.

Когда привезли эту больную, Заряна не помнила. И как это произошло, тоже не помнила; она слишком была занята всею своею, на глазах умирающей огромной семьей, чтобы сразу, с ходу обратить любовь и внимание на нового в ней человека; помнила только, как в дверь кабинета всунул голову терапевт Леша Синицын, бормотнул невнятно: «Заряна Григорьевна, там умирающую привезли! загляните! в первую палату ее положили! ну да, на место Ариадны Смолокуровой, освободилось же! я пока назначил питательную капельницу, панангин там, для сердца, глюкоза!» Она подумала: как просто, место освободилось. Это значит — Ариадна умерла. Сегодня ночью, пока она, главный врач, мирно почивала дома, в теплой постельке. А может, Смолокурова тоже мирно спала. Нет. Не мирно. Умирающие, даже если агония началась, и на чужой взгляд они — уже без сознания, на самом-то деле все видят, слышат и сознают. Просто за сознание, за усталый мозг у них внутри работает душа. Непонятная материя; вернее, нечто бесплотное, не поддающееся ни описанию, ни ощупыванию, ни убийству.

«Неужели душа — бессмертна? Неужели это и правда так?»

Заряна кивнула Синицыну: да, подойду, сейчас.

Аккуратно перебрала и сложила бумаги на столе и тяжело, отдуваясь, пошлепала в первую палату.

Первой, всегда быть первой, бессмысленно повторяла она себе, пока шла, а ты всегда была последней, но вот тут, при смерти, при ее костяном троне, ты почему-то стала первой, так распорядилась судьба, не ты сама.

Она увидела эту женщину издали, еще от стеклянной двери. Умиравшая спала. Раскинула руки, будто хотела обнять кого-то. Седой развившийся пучок смешно, ободранной курицей, восседал на ее затылке, как живой; из пучка на подушку повыпали шпильки. Обвислая кожа собралась в мятые, жатые складки под остреньким подбородком, стекала по шее оплавленным живым воском. Она вся была еще живая, и грудь дышала, укрытая крахмальной простыней.

Пока Заряна, уткой переваливаясь с боку на бок, тяжело подтаскивала тело к ее кровати, она ее узнала.

Ее мать лежала перед ней и спала.

Еще лежала на земле. Еще спала, живая.

Когда Русудан Мироновна проснулась, она увидела рядом с собой толстое тело и широкое, как сковорода, лицо. Обрюзглые щеки, жирные складки подбородка. Вертикальные морщины прорезали углы скорбного рта. Женщина, сидящая перед ней, была еще не старая, но выглядела как старуха. Точно старше ее, писаной красавицы! Она и в своем возрасте красотка еще хоть куда! А эта... эта... Кто такая эта? Имя вертелось на языке, но она не могла вымолвить его. В память вбили клин. И проткнули в ней, в памяти, важный и крупный сосуд. Вытекла кровь. Сосуд сохся, опустел. Кровь больше не билась в нем. Не вспоминала боль и чудо. Как может вспоминать пустота? О чем она может спеть?

Русудан Мироновна изумленно оглядела свои руки в рукавах пятнистого халата. Вытертый! Застиранный! Кто она, Господи, и где она? Сморщила лоб. Вспоминала мучительно. Ничего не вспоминалось.

Она недовольно покосилась на толстую, слишком тяжеловесную даму, безмолвно сидящую перед ней на казенном стуле. Какая громадина! Слон и слон. Ноги как у слона. Зад висит курдюком. Вся шея в складках, рожа в кочках. Если бы я родилась такую уродиной, я бы удавилась, брезгливо подумала Русудан Мироновна и захотела отвернуться, но не смогла.

Так и лежала, закинув голову, на высокой подушке, косилась на незнакомую толстуху.

По щекам толстухи текли мутные, как самогонка, слезы. Они текли и текли, им не было конца. Толстуха плакала так, будто оплакивала конец мира. А что, мир разве уже кончился? Ей никто не сказал. Надо спросить!

Она попыталась спросить, жив мир или уже нет, но рот не слушался ее.

Через час или два Русудан Мироновна попросила принести ей зеркало. Толстуха вытерла слезы полкой белого халата, встала и удалилась. Медицинская сестра принесла маленькое круглое зеркальце. Русудан Мироновна схватила его и жадно стала искать там, внутри, на его прозрачном дне, себя. Нашла. Она себя не узнала.

Это была не она. Нет! Не она! Другая женщина. Совсем некрасивая. Растрепанная, как метла. Эта спутанная седина, крупная чечевица, приклеенная к щеке. Неужели это ее миленькая, как мушка, родинка, ее изюминка, так чудовищно выросла? Зачем? Кто позволил? Как звали эту неряшливую, встрепанную бабу? С мордахой билетерши, подавальщицы, торговки?

Она так напугалась созерцания непонятной бабенки в зеркале, что забыла свое имя.

Как меня зовут, спрашивала она медсестру и хватала ее за рукав, вы не скажете мне, как меня зовут? Сестра приблизила к ней юное, не знающее ужаса лицо и тихо, по словам, сказала ей: Ру-су-дан Ми-ро-нов-на. Запомнили? Она кивнула. Русудан Мироновна, повторила она шепотом.

Потом пришли другие люди, она не знала их, и тихо, прямо сказали ей: Русудан Мироновна, вы находитесь в хосписе. А что такое хоспис, выкрикнула она, а вдруг это страшно, я здесь не хочу! Здесь! Что это за место? я не знаю это заведение! А вдруг тут меня отравят! а вдруг убьют! Незнакомые люди столпились возле ее кровати. Один из них произнес: вы только не волнуйтесь, Русудан Мироновна. Вам нельзя волноваться. Хоспис — это такая больница, ну, знаете, последняя больница. Как последняя, вскинулась она на подушках, почему последняя?! Человек, она не знала его, тихо и терпеливо сказал: последняя, потому что тут умирают.

Она враз утихла, обмякла. Лежала в подушках и беззвучно повторяла за людьми их речи. Умирают, повторяла она, умирают, значит, я умираю. Я — умираю? Это правда? Люди наклонили головы. Они соглашались с ней.

Она испугалась. Боже, как она испугалась! Она не помнила, как и откуда привезли ее сюда, в этот ужасный хоспис: из дома престарелых, из дальнего села на берегу широкой холодной реки, она хорошо жила там, прижимала к ногтю сожительниц, а как попала в этот старушечий дом, предпочитала никому не рассказывать. Забыла! Все и на-совсем! Как шла по дороге, глотая слезы, себя ругая: ну зачем, зачем пожелала дочери смерти?! ведь это моя дочь, моя! кровиночка! плоть от плоти! — а потом, когда налетела ночь, налегла на глаза и на душу, и страшно стало, — забыла, как подрулил к ней хороший человек, высунулся в окно машины, крикнул: куда это вы бредете по дороге, да так поздно, дамочка?! собьют ведь, недорого возьмут! — а она вдруг закрыла лицо руками и заплакала, и ей стало плохо, оседала она на обочину, падала сном, и шофер из машины выскочил, поднимал ее с земли и усаживал в свою таратайку, на пропахшее псиной и табаком сиденье. Забыла, как расспрашивал ее этот сердобольный водила: кто вы да что, и откуда, и не потерялись ли, и зачем шатаетесь по дорогам ночью, одна, — и она сморщила красивое лицо и заплакала: да, я потерялась! мне нужна помощь! я не знаю, куда мне податься! — а мужчина, от него пахло табаком, все выпрашивал: а дома у вас есть? а родня у вас есть? или вы одна-одинешенька? Она, рыдая, бормотала: одна я! и дома у меня нет! бросили все меня, оставили меня! — и тогда шофер наморщил лоб и быстро сообразил: а давайте-ка я вас, тетенька, в одно такое хорошее местечко отвезу! Довольны будете! А что это за местечко? — осторожно пыталась выпросить она, боялась: вдруг завезет куда да обчистит! — а обчищать было особо и нечего, немножко жалких денежек таилось в кошельке, остатки от пенсии.

И шофер привез странную седую, плачущую даму в родное село, в дом престарелых. Но забыла она об этом. Забыла.

В доме престарелых Русудан Мироновну раздели, обмыли, переодели во все чистое, накормили манной кашей с вареньем и сливочным маслом, а попить налили крепкого чаю с лимоном, кусок белого хлеба на стол положили: еда была простая, но пахло все вкусно, а каша таяла во рту. Ей выделили койку. В комнате еще две койки стояло; и две соседки, как две лисы, пойманные в капкан, глядели на Русудан Мироновну круглыми печальными глазами. Она, вскинув красивую гордую голову, разбросав по плечам мокрые, чисто вымытые волосы, презрительно глядела на двух старух. Деревенские бабки! А она, городская красавица, зачем здесь? Спихивалась. Она оказалась тут потому, что ушла из дома. Ну хорошо, смирялась она с судьбой, будь что будет. Пусть все идет как идет. Пусть дорога сама о себе заботится.

И так она повторяла себе каждый день; и все это она забыла. Забыла.

Когда она стала задыхаться, она тоже забыла; и говорить на разные голоса, тоже забыла; и когда стала сама себе писать письма, не помнила. Под черепом поселилась боль, она сначала тихо гудела, потом стала громко взрываться, и осколки разлетались в стороны, улетали далеко, прошивая чернотой слепящую снежную белизну. Потом боль превратилась в огонь. Когда огонь обнял всю голову, и всю ее грудь, и руки, и красивые ноги, и все ее и в старости красивое тело, она ощутила, как земля под ней трясется. Это ее везли куда-то. Куда? Она не знала. И не знала, что ее везут. А когда боль на миг отпустила ее, она о боли забыла.

А теперь к ней приходили люди и говорили ей о том, что она умирает и непременно умрет. И чтобы она была готова к смерти.

Она боялась смерти всегда. Боялась и сейчас. Она прятала голову под подушку, пытаясь спрятаться от смерти. Закрывалась одеялом с головой. Задыхалась там, в темноте. Потом откидывала одеяло и ловила воздух ртом. Глядела перед собой и опять обнаруживала на стуле эту странную, громадную толстую бабу. Толстуха неотрывно глядела на нее. Теперь она не плакала. Она смотрела на Русудан Мироновну тяжело, горячо, и била себя в грудь огромным толстым кулаком, и шептала ей: мама, мама. Какая я тебе мама! Какая нелепая выдумка! У меня нет никакой дочери! Нет и не было!

Настал день, когда Русудан Мироновна узнала свою дочь.

Когда она узнала ее, глаза ее расширились и побелели. Это узнавание совпало с осознанием неизбежного ужаса. Она наконец поняла: то, что она умирает, не выдумка, все по-настоящему.

Русудан Мироновна сначала тихо сказала: Заряна? Толстая баба вздрогнула и всунула пальцы себе в зубы. Ее глаза кричали Русудан Мироновне: да! да! я Заряна! я Заряна! а ты моя мать! Русудан Мироновна рывком села на койке. Железная сетка лязгнула. Она сжала кулаки и подняла оба кулака перед искаженным лицом. Лицо обратилось в живой страх. Страх кривился и дергался. Из страха донесся вой: нет! нет! не-е-е-е-ет! никогда-а-а-а!

Заряна рухнула перед койкой матери на колени. Наваливалась на нее грудью. Мать дергалась под ней. Била воздух и ее толстое тело крепко сжатыми, железными кулаками. Вопила. Нет! Я не умру! Это все не со мной случится! А с тобой! Ты лучше умри! Ты! Гадина! Ведь это ты меня убила! Ты! Ты меня прогнала! Ты лишила меня дома! Я из-за тебя скиталась! Мерзла! Страдала! Голодала! А ты! Ты тут жила в тепле, в холе! Лучше ты умри, сдохни ты, сволочь! Сволочь! Сво-о-о-о-о...

Уже бежали по коридору, вбегали в палату медсестры со шприцами. Задирали рукава ее халата. Растягивали руки больной по кровати. Уколы, что делали здесь, действовали мгновенно. Русудан Мироновна мирно закрыла глаза и засопела. Она спала так тихо и сладко, что Заряна, с залитым слезами лицом, внезапно почувствовала себя маленькой девочкой; такой еще маленькой, когда мать еще не мучила ее и не издевалась над ней; когда она ее еще ласкала и держала на красивых, грациозных руках. А Заряна любила играть с черной, кудрявой материнской прядью. Сидела у матери на руках, хватала ее волосы и тянула их в рот.

Сладкий тихий сон! Чем же смерть отличается от глубокого сна? А ничем.

Нет разницы между сном и явью и между вечным сном и бессмертием.

Потом наступили странные дни.

Русудан Мироновна то отрицала все: ты не моя дочь! я тебя не знаю! у меня нет дочери! — и про смерть свою так же говорила: у меня никогда не будет смерти! для меня ее просто нет! вы все зря мне о ней говорите! я все узнала, вы все меня обманываете, просто чтобы испугать меня, чтобы я испугалась и от страха умерла, вы все злые, но

я сильнее вас! — то опять орала: нет! нет! этого не будет! я убегу от смерти! я спрячусь от нее! заруюсь в землю! влезу на дерево! Я буду жить под крышей, на голубином чердаке, и меня никто оттуда не вытащит! Спать я буду в сундуке, и накрываться крышкой, и запираюсь изнутри на замок! Никакая смерть не проникнет!

Заряна со всем соглашалась. Она кивала: да, мама, ты ото всех убежишь. Тебя никто не догонит. Да, я поселю тебя на чердаке и постелю тебе постель в большом старинном сундуке. Тяжелую его крышку никакая смерть не поднимет. Ты меня слышишь? Слышишь?

Русудан Мироновна поводила головой туда-сюда. То ли да, то ли нет.

Оцепенение пришло неожиданно.

Оно слетело прозрачным покрывалом, дырявой застиранной простыней и тихо, будто слоем снега, закрыло койку, ее никелированную спинку с сиротски висящим сырым полотенцем, лицо старухи, космы седых волос на подушке, ржавые углы локтей, сухие щиколотки, торчащие из-под простыни, оконные стекла, тумбочки, оловянный блеск подстаканников, апельсиновые корки в блюде.

Оцепенение закрыло уродство и ужас жизни и родило глубоко внутри, в истрадавшемся, плохо бьющемся сердце печаль и покой истинной смерти: умиротворенной, ясной, все прощающей, все покрывающей. Ее тихий тусклый голос звучал ниоткуда: я защита, я щит от вечной муки. Любите меня. Я не сделаю вам ничего плохого.

Русудан Мироновна лежала теперь неподвижно.

Заряна приходила к ней по нескольку раз в день.

Она словно боялась, что Русудан Мироновна умрет в ее отсутствие.

Ей казалось, она должна проводить мать туда, куда мать так хотела затолкать ее самое; при этом держать ее за руку, глядеть ей в глаза, ловить ее дыхание, — ловить последние огненные языки жизни, последнее мерцание ее дотла сгоревших головней.

Когда она застывала около ее кровати, она видела одно и то же: старуха лежит, руки поверх одеяла, на груди, тихо и часто дышит, кисти рук, пальцы, предплечья в синих пятнах, это лопаются сосуды, и кровь разливается под кожей.

Ее сюда привезли из далекого села, потому что ее после сильной неукротимой рвоты осмотрел сельский фельдшер и сказал: нет, не отравление, везите в город, к врачам. Врачи тут же поставили диагноз. Неоперабельная опухоль головного мозга. Русудан Мироновна не знала таких сложных слов. Ей их и не сказали. Она думала теперь только своими словами, простыми и гордыми, и не слышала чужие слова.

Заряна подолгу глядела на тихо лежащую мать.

— Мама, ты меня слышишь?

Она молчала.

Заряна видела: мать слышит ее.

Но не хочет ей отвечать.

Впрочем, так было всегда.

Заряна наклонялась и мощной рукой осторожно гладила мать по плечу.

— Мама! Может, ты что-то хочешь? Что тебе принести?

Тишина и сопение. Свист носом.

Притворяется, что спит.

На самом деле слушает свою дочь и ненавидит.

Ничего не изменилось.

Лицо бледное, как простыня. Чуть приоткрыт рот. Нет, и в самом деле спит.

Будто замерзла. Застыла.

— Мама, тебе холодно...

Заряна приносила еще одно одеяло, укрывала ее, подтыкала под нее одеяло.

Русудан Мироновна не шевелилась.

Заряна вздрагивала: а может, умерла! — брала за руку, щупала пульс.
Нитевидный пульс еле прощупывался.
Она жила.

И был день.

Русудан Мироновна открыла глаза.

Леша Синецын бежал по коридору, сияя глазами.

— Заряна Григорьевна! Идите скорее! Ваша мама глаза открыла! Может... на поправку...

Старуха и вправду глядела. Но уже не глазами. Этих глаз уже не хватало для вновь рожденной души, чтобы душа плескалась в них. Светлая, тихая улыбка обвила лицо, морщины проявились и укрупнились. Лоб сиял мелкой испариной. Заряна вытерла матери пот со лба полотенцем.

— Мама! Как...

Осеклась. Ничего не надо было спрашивать.

Во всей огромной жизни ничего теперь не надо было говорить.

Ни объяснять, ни оправдываться; ни признаваться, ни ругать. Ничего.

Молча дрожал, пылал и плыл воздух. Это было лучше всего.

Тайна молчания. Светлое приятие: я принимаю все, все теперь мое.

Все, даже то, что я не вижу, не осязаю и чего не касаюсь мыслью. Весь мир.

Он — мой.

Он — ее? Ее матери? А дочери, значит, ничего не отломилось?

Заряна не смогла, не успела рассердиться.

Она сама, ее дочь, тоже входила в круг того, что мать поняла, заново открыла, приняла и полюбила.

Полюбила? Не слишком ли громко сказано?

Ведь она ненавидела всю жизнь.

А кого? Ее, дочь?

Нет. Целый свет.

И вдруг этот свет распахнул ей объятия и крепко обнял ее; и деваться ей было некуда.

Надо было в ответ обнять свет, стать с ним на равных.

И как только Русудан Мироновна обняла обеими руками свет, ей стало легко и чисто.

Свет был свет, и она была свет.

Они обнимались так крепко, сильно, что стали друг другом.

Разве это можно было рассказать какими-то там словами?

Ком в горле стоял у Заряны. Она стояла, озаренная светом. Бросала отблески на чисто вымытый утренней нянечкой пол.

— Мама! может, булочку... с изюмом...

И опять порвали, грубо оборвали ветхую нить ее голоса.

Вошла сестра с чашкой горячего куриного бульона в руках. Осторожно поставила чашу на стол.

Хотела что-то сказать, но Заряна прижала палец ко рту.

Сестра, пятясь, вышла из палаты.

Заряна молча смотрела на мать.

Она знала: при появлении такого, вот такого ясного и тихого света начинается агония.

И это началось.

Свет исчез. Накренился, покосился мир, с него вниз стали падать мебель и стены, деревья, звери и люди. Черные тучи стали вихрем, он снова принес забытую боль, и боль обкручивала тело, а потом добралась до души. Дышать стало трудно. Русудан Мироновну крутили вихри, она летела в пустоте, раскидывая руки и ноги, и не за что было уцепиться. Только не было у нее крыльев. Тяжесть давила, тянула тело к земле. А земли не было. Всюду была пустота. Русудан Мироновна одна была сгущением в этой пустоте. Ее дух сгустился, стал тягучим и липким, превратился в ее туловище, в бешеный комок сердца под ребрами. Она слышала грохот своего сердца и пугалась его. Все это на свете — последнее! Последние удары сердца. Последние вихри, что крутят и мнут тебя. Есть жизнь, в ней все еще движется. Когда все замрет? Остановится? Она не знала.

И не знала она, чего ей хотелось теперь больше всего: чтобы все продолжало крутиться, беситься или чтобы все застыло.

Извне ничего не долетало. Кругом пустота, и из легкой она постепенно становилась вязкой, потом плотной, потом тяжелой и превращалась в обреченную на гибель густоту. Трудно было лететь в густоте. Густота летела сама по себе, а Русудан Мироновна в ней как стрекоза в янтаре. Не вырваться. Мир окостеневал, падая, но не было низа и верха, он падал, куда хотел, а Русудан Мироновна хотела лететь сама, и этого было нельзя. Кто запретил? Кто повелевал ею? «Боже, Боже», — тихо вылепили ее неподвижные губы; это сказала она больным, последним проблеском мысли. Так она позвала Бога. Она не верила в него. И дочь к вере не приучала. А теперь, обнятая тяжелой тьмой, она вдруг испугалась остаться совсем одной, навсегда; ощутила потребность прижаться к чьей-то родной груди. Она захотела сама стать не матерью, плохая она на земле была мать, она это давно поняла, а дочерью. Обнять отца или мать, все равно. Сильнейшего, лучшего — обнять. И чтобы сказали ей: успокойся, Русудан, небеса не страшные, на небесах растет сладкий виноград! И ангелы едят его!

Виноград, и далекие горы, и далекое пионерское детство, и раздавленная сладкая ягода под языком. Она не помнила отца. Ей потом, в детском доме, сказали: твой отец, Мирон Абуладзе, погиб на войне. Матери она не знала. Детский дом был ей отцом и матерью. Ее жалели нянечки и больно били злые воспитательши, а добрые — угощали домашними хинкали, а дети таскали за роскошные косы. Однажды ее, в шутку, захотели повесить: дети играли в Зою Космодемьянскую. В сарае накинули веревочную петлю на матицу, подтащили табурет, поставили на табурет Русудан. Она гордо вскидывала красивую голову с тяжелыми косами и кричала: всех не перевешаете! Мальчишки надели ей петлю на шею. Они совсем не хотели ее вешать, так просто, играли, и все, но самый маленький, малявка Петька, пинком выбил у Русудан из-под ног табурет. Сколько мгновений она висела в петле? Тонкая хилая веревка порвалась быстро. Русудан упала на землю сарая. Куры заквохтали, сгрудились в углу. Дети боялись подойти к Русудан. Как куры, сбились в кучу, вскрикивали. Самый смелый подошел. Затряс Русудан за плечо. Эй, очнись! Она не открывала глаз. Дети гурьбой побежали к воспитательшам, плакали, указывали пальцами на сарай: умерла! умерла! Русудан откачали. Неделю она провалялась в больнице. Она ничего не помнила, что с ней было. Как — повесили? Кто — повесил? К ней больше не приступали с расспросами и рассказами.

Виноград, и далекое море, и снега в горах, и спускаться с горы на лыжах, как страшно и прекрасно! Она знает: одно неверное движение — и она ломает руку или ногу, разобьет голову, умрет. Смерть рядом, но это же так весело! Если далеко уплыть в море, можно не вернуться. Ты просто не доплывешь и утонешь. Опять тебя ждет смерть. Она везде; дядя Мераб застрелил Кетеван Яшвили на охоте, а она всего лишь попросилась с ним на охоту, посмотреть, как охотятся с борзыми собаками. Какая красивая Ке-

теван лежала в гробу! У смерти тоже была своя красота. Русудан глядела на себя в зеркало: она хороша, и очень хороша, ее будут все любить, на руках носить, ну конечно. Она станет женой генерала, или знаменитого художника, или самого богатого богача на всем Кавказе! У нее будет совсем особая судьба! И она никогда, уж это точно, не умрет!

Краем уха она слышала, что вот есть такие особенные люди, святые и праведники, и еще есть преподобные, и еще мученики, вот они никогда не умирают, говорят, они живут вечно. Как и где живут — это уже второй вопрос. Главное, живут! А всех остальных хоронят. Засыпают землей. Русудан содрогалась, воображая, как ее будут засыпать землей. Не будут! Никогда! Разве таких красивых, как она, засыпают землей?!

От гор и моря она уехала в снега и льды. И сама стала льдом. Скользила по льду. Падала, разбивалась больно. Ее все время обижали, обижали. Плевали ей, красавице, в лицо. Нигде не замечали: в очередях, на улице, нигде. Подло бросили ее с ребенком на руках. Она, красивая, родила на свет уродину. Не на свет, а во тьму!

А зачем она жила? Что же главное, самое главное у нее в жизни было?

А может, она сама была пуста, как пустой, без вина, глиняный сосуд кевври?

И разбить его; и осколки не собрать.

Густота внезапно разошлась в стороны и опять стала пустотой. Русудан Миронова опять летела вольно и страшно, невесть куда. Переворачивалась в пустоте. Вихри швыряли ее, сминали, крутили. Тело еще чувствовало верчение, движение. А душа — сияние. Извне лился свет, его источник нельзя было определить, да она сама была светом, она теперь могла светить и светиться; может, это испускала лучи ее рука, нога, кочергой сгибаясь в сумасшедшей пустоте.

Вдруг все встало. Больше не летело никуда. Неподвижно лежала умирающая, а воздух сам ее держал. Нежные руки воздуха, ладони пустоты. Чуть покачивалось тело, как в люльке. Тело не видело, не слышало, как над ним плакали, как горячие слезы капали и стекали по нему; оно, став душой, теперь понимало только одно: свечение и благословение. Большая и добрая рука тянулась к ней из тьмы, и она остатками слов говорила себе: я буду жить вечно, я тоже святая. И тянула к светящейся руке свою старую руку. И ловили руки друг друга, беспомощно скользили друг по другу, как звездные рыбы в глубоководной толще неба.

Меня вешали, а я не умерла! Я — святая!

Нет, ты не святая. Ты замучила свою дочь!

Я?! Замучила... свою...

Она хотела возразить, все отрицать, но сил не было, только свет бился и тлел.

Он мерцал внутри, далеко отсюда.

Там, где еще летели в пустоте люди, где клубились и стонали живые ветра.

Заряна держала мать за руки.

Она не впервые наблюдала агонию.

Но тут умирала ее мать, и это было не наблюдение.

Заряна умирала вместе с ней.

Все произошло так, как она и хотела — мать умирала при ней, она была здесь, на работе, и ее позвали в палату, и она пришла, села на стул, взяла холодеющие руки матери в свои и так сидела.

Мать сначала лежала без движения, потом закинула незрячее лицо. Хрипела.

Заряна молилась: скорей, только бы скорее.

«Господи! Возьми ее скорее к Себе, прошу Тебя!»

Опустила голову, устыдилась.

«Зачем я прошу Его о том, чтобы — быстро? Он сам знает как, когда. Господи! Да будет воля Твоя, а не моя!»

Мать мучилась. Или уже нет? Свет, что лился из ее лица на Заряну, разгорался ярче. Заряна зажмурилась. Положила ладонь себе на лоб и глаза. Она восседала на широком стуле, как на троне, она и была здесь царицей, царицей хосписа своего, бедной последней больницы, где люди еще надеются, а потом отчаиваются, а потом наливаются призрачным, вечным светом. Свет памяти! Мать ее не помнила ничего. Опухоль съела и выпила ее память. И слава богу, она забыла, как истязала дочь; как била ее кулаками, била словами, резала острыми ножами насмешек, накидывала ей на шею веревку презрения. Память исчезла, но вместо нее явился свет. Он заменил напоследок все: память, любовь, нежность.

Любовь и нежность в свете. Память в свете. Внутри, в его круге. Стоять в круге света — это и есть быть святым; так стояли святые.

Она, Заряна, не святая. И никогда ею не станет.

Она просто врач, врач, и больше ничего.

И никакой врач, и она тоже, не вылечит от смерти.

Заряна тонула в свете, исходящем от матери. Она испытывала то же, что и мать. Ей было страшно, как ей. Больно, как ей. А потом благостно и светло, как ей. Она наизусть знала все эти переходы состояний из жизни в смерть, хоспис демонстрировал ей смерть в разных обличьях, но суть смерти оставалась одна и та же, она приходила и забирала людей одинаково, и Заряна гляделась в чужие смерти, как в зеркало, она уже подло и пошло привыкла к ним, да нет, конечно, это она зря так думала про себя: не привыкла, нет, и ужасалась каждый раз до глубины души, — но организм защищал ее от созерцания смерти, срабатывал механизм, чтобы не скатиться с ума, не забиться на больничном полу в судорогах отчаяния, — вот и теперь она гляделась, как в вечное черное зеркало, в смерть матери, и нельзя было ничего поделывать: ни остановить, ни помочь, — только смириться. Последний укол? Смертельная инъекция морфина? Что же, и так бывает. Она допускала все.

Когда глядишь на смерть, можно все.

И человек смог бы все; да вот Бог не разрешает.

Она начала мелко дрожать, как под током. Руки матери в ее руках ослабли, сделались легкими, будто невесомыми, будто вырывались из ее рук и хотели уплыть, сами по себе, в океан воздуха и света, две легчайших лодки. Заряна еще сжимала ее руки, но это было уже напрасно: умирающая перешла порог, а за ним вся человечья плоть уже не пела и не пылала на поверхности земли; она теперь могла петь только в земле; агония кончилась, и наступило то время в смерти, которое Заряна тоже хорошо знала: легчайший, короткий миг между последней жизнью и первой смертью. Первый шаг туда, откуда уже никто не вернет.

Заряна, не помня себя, низко склонилась над смертным ложем матери своей.

Прижалась лбом к ее рукам, спокойно лежащим на груди.

Миг назад эти руки еще вцеплялись в край одеяла.

Движение. Только одно. Воля к жизни.

Последняя воля.

— Мама, прости меня!..

Она просила у мертвой матери прощения.

Кто у кого должен был в жизни прощения просить?

Она не знала.

Знала: так надо; надо прижаться лбом, припасть губами.

Губы, они знают лучше, больше, чем мысли, даже больше, чем сердце. Ни к чему теперь не надо прислушиваться. Ничего решать не надо. И плакать ни о чем не надо. Слезы в прошлом. Они умерли. А вот она смерть, живая. В жизни есть только смерть!

Когда люди это поймут, им будет легче. Они по-новому научатся любить жизнь. А то: война, война! Всемирная! Взорвем города! Убьем людей как можно больше!

Нет никакой войны. Есть только смерть одна.

Вот она, вечная мировая война. Идет себе и идет. По всей земле. Во все века.

За спиной Заряны и вокруг кровати встали люди; шевелились головы, затылки темнели, сияли лбы, кричали и истекали влагой глаза, рты молча улыбались, молча молились — все молча, как и надо было. Тьмы тем мертвых, они вставали и двигались к ним, забрать новую. Новая лежала смиренно. А ее дочь целовала ее.

Так, как при жизни никогда не целовала.

Поздно! Да, все поздно. Почему так? Почему мы всегда опаздываем?

Так устроено время или такие уж мы?

Руки вытянулись по одеялу, навстречу мертвому лицу.

Догнать нельзя. Схватить! Не получится. Зачем? Срок кончился.

И Заряна ложилась лицом на грудь матери, ей казалось, она еще теплая, и плакала так отчаянно, и сладко, и чисто, и неутешно, как никогда в жизни своей не плакала ни над кем.

Она лежала лицом на мертвой матери и плакала, а в дверях палаты стояли, не в силах пройти дальше, сестры, и терапевт Леша Синицын, и два онколога, и старый геронтолог, и все они смотрели, как Заряна плачет, и никто из них не подошел, не обнял ее, не утешил, не отвел прочь от койки умершей. Надо было дать ей свободу.

Плакать. Родиться. Жить. Заледенеть.

Они не успели здесь противостоять друг другу.

Кончилось их противостояние.

Умерла их вражда.

И верно, зачем ненавидели? Зачем боль причиняли?

Пытаться объяснить — не надо.

Ничего и никогда не надо объяснять.

Надо просто радоваться. И печалиться. И прощать. И жить.

И никогда никого и ни за что не наказывать.

Смерть придет и сама тебя накажет.

Там, за ее порогом, все сразу станет тебе ясно.

Раскрой ей руки. Прижми к сердцу своему.

Упади головой на ее грудь.

Она так долго ждала тебя.

Смерть — это самое важное, что с тобой в жизни случилось.

Похороны Заряна заказала самые скромные. Похороны — это не праздник. По улице медленно ехал автобус. Внутри автобуса стоял гроб. Заряна сидела на кожаном сиденье в необъятном, величиною с целый дом, черном драповом пальто. Свободные складки растекались, сползли с плеч на грязный пол автобуса, на крышку гроба. Впереди автобуса шли музыканты. Они замерзли на морозе. Красными руками нажимали медные кнопки труб, рвали кулисы тусклых, будто ржавых, тромбонов. Сыграв бессмертный похоронный марш, полезли в автобус. Грели руки дыханием. Кое-кто из них смеялся. А что, всем плакать, что ли. Жизнь продолжается.

Доехали до кладбища. Никто не говорил никаких речей: Заряна запретила. Врачи стояли понуро у разрытой могилы. Заряна со страхом глядела в глубокую яму. Отчего-то ей захотелось сейчас запеть. Казачью песню, разудалую. Или материну, ее любимую, как это Русудан пела, когда Заряна еще лежала в пеленках: гапринди шаво мэрцхало, гахкхэв Алазнис пирсао... Амбави чамогвитанэ, омши цасули дзмисао! Лети, чер-

ная ласточка, неси нам о героях весть! Она утратилась этого позорного, непонятного надгробного желания и зажала рот рукой в пушистой варежке. Тихо, тихо, говорила она себе, как норовистой лошади, куда тебя несет. Гроб опустили в яму на ремнях. Заряна следила, как его опускают. Как ее опускают в землю: ее мать.

Ее мать, это все равно что ее саму.

Разве можно себя ненавидеть? Убивать себя?

Втаптывать себя в грязь?

Да нет, конечно.

Что же это было? Что?

Это была жизнь.

Если жизнь такая, тогда смерть — счастье?

Нет. Смерть — это горе. Самое главное горе в жизни. Его ничем не излечишь.

Лопаты стали быстро и жестоко засыпать землю глинистую яму, и Заряна наклонилась, чтобы бросить на крышку гроба ком земли. Она не устояла на ногах, грязь поплыла под сапогом, и она тяжело, грузно упала на холодную, чуть побеленную седым жестким снегом землю.

К ней бросились — поднять. Терапевт Леша Синицын закусил губу и сморщился, поднимая ее.

Ему показалось, он поднимал взорванный чугунный мост через холодную, закованную в лед родную реку.

Заряна не хотела вставать с земли.

И все закрывала и закрывала глаза.

Веки склеены. На ее веках лежит земля. Они забиты досками и засыпаны землей.

Все. Кончено. Кончена жизнь. Нет ее.

Ее подняли насильно.

Ей кричали: Заряна Григорьевна! Откройте глаза! Вам плохо?! плохо?!

Поддерживали ее под руки. Всовывали в рот таблетку.

А она все стояла у могилы с закрытыми глазами.

* * *

<...> Монахи, я уеду. Я хочу вернуться туда, где родился. Хотя там давно все умерли. И там меня никто не ждет. Но я все равно хочу туда вернуться. Это желание сильнее меня. Спасибо вам за просветление. Я это просветление никогда не забуду. И ледяную воду в ведре. И вашего Будду.

Монах старательно все перевел за ним. Марк вскинул руку и показал на медного Будду. Потом сложил ладони вместе и прижал руки к груди: так делали монахи, он тоже сделал так. Монахи повторили его жест и склонились перед ним, будто он был бог. Он улыбнулся. Он так часто улыбался здесь. Он привык улыбаться. Даже если рядом никого не было.

Монахи тщательно собрали его в дорогу. Он думал, они соберут ему вещишки в котомку, а они преподнесли ему модный чемодан, из натуральной кожи, с множеством карманов и отделений. В чемодан сложили все, что нужно для дальнего путешествия. Ты полетишь сперва в Пекин, говорили монахи ему, там найдешь русское посольство, все про себя расскажешь, без утайки; когда тебе выправят документы, купи себе билет на поезд, ты должен увидеть землю, которую ты покинул давным-давно, да, именно землю, а не облака в небесах. Они давали ему ценные наставления. Помни, человек, о добре. Помни о зле. Помни о том, что человек слаб, и помоги слабому. Помни о том, что на самом деле ничего нет. И этого самолета нет! И этой горы нет! И этой столицы нет! И этого поезда нет! И этой еды нет; и слез этих нет, и радости тоже; все утекает, как

песок сквозь пальцы. И этой земли нет? И этой земли тоже нет; сегодня она есть, а завтра ее нет; и она сгорит во вселенском огне; помни, человек, о конце мира.

Монахи говорили на их звенящем, медно плывущем по воздуху, колокольном языке, а монах, что подал ему руку, тихо и спокойно повторял эти речи по-английски. Марк кивал. Оба чужих говора текли разными потоками, не сливаясь. Ухо выхватывало в стремнине знакомые слова. Мозг тут же все забывал. Голова забыла многое из того, что надо бы помнить; разве можно упомнить все на свете? Он обнялся с монахом, что когда-то протянул ему руку. Попятился от него. Подхватил чемодан и пошел вперед. Монахи долго шли по каменистым горным тропам; впереди шел проводник, Марк замыкал шествие. Белая гора качалась над ними, под солнцем таяли, плакали снега.

Маленький аэродром, странный маленький, как стрекоза, самолет. Марк вспомнил, как падал в самолете над океаном. Он сказал себе: не дрейфь, смерть подстерегает только раз, и сам себе не поверил. Он слишком часто видел смерть и слишком близко. Он шепнул себе: смерть, ты тоже жизнь! Это было ближе к истине.

Истину, как оно там по-настоящему, он не знал, ему ее никто еще не открыл.

Да он и не допытывался. Не у кого было.

Помни о конце мира — так говорили монахи? А что о нем помнить? Ну придет и придет, эка невидаль. Умирает отдельный человек, и умирает мир. Он ждал своей очереди — в посольстве, в отеле, на вокзале. Людей было так много, что сразу не происходило ничто. Всегда надо ждать. Может, в небесных глубинах и есть мир, где ждать не надо. Кожаный модный чемодан был гораздо импозантнее и внушительнее, чем он сам, исхудалый, печальный, чересчур загорелый. Когда он увидал себя в вокзальном зеркале, он изумился: он стал раскосым, как все эти здешние люди. Мимикрия! Человек приспособливается ко всему, и меняется его облик. И пластику делать не надо, посмеялся он над собой, теперь и без операции его на родине никто не узнает. Его, убийцу и злодея! Деньги совершили, как всегда, невозможное. Он снова гражданин своей страны; и он сейчас сядет в поезд, чтобы приблизиться к ней, чтобы въехать в нее и оказаться в ней, внутри, — пусть ее люди, ее дома и снега опять обнимут его и, может, простят.

Он погрузился в поезд. Место в купе, и улыбчивые проводницы разносят чай и сладости, и он долго, удивленно глядит на странные изделия из теста, лежащие на кружевных салфетках на стальном подносе: что это? Ему улыбаются в ответ. На смешном русском языке раскосая проводница любезно отвечает ему: «Уважаемый господин, это русские пирожки! Пирожки с капустой! А это пирожки с грибами! А это пирожки с зеленым луком!» «Пирожки» она произносит как «пиросики». Марк хватает с подноса пирожок, и нюхает, и, сам себе изумляясь, целует. «Не нюхайте, — весело говорит раскосая молоденькая проводница, — все очень свежее!» А ему кажется, она говорит ему: не плачь, сынок, все это вечное, все это теперь навсегда с тобой.

Он купил у проводницы весь поднос с пирожками. Двухместное купе, о, кажется, в России, раньше, это называлось СВ. К нему никого не подсаживали. На границе долго, дотошно проверяли документы. Марка тщательно сличали с его фотографией во вновь выделанном паспорте. Когда железные рельсы серебряно, дико побежали, заструились по Сибири, он обнял себя за плечи: они тряслись. Забайкальск! Чита! Улан-Удэ! Это уже Бурятия, шептал он себе, это Бурятия, я ведь еду по России, по России! Заснеженная тайга напознала на железную дорогу, домишки близко подползали к сверкающим под солнцем рельсам. Синева небесная, почти как в Акапулько! Нет, как в Тибете! Он закрывал глаза, брал в пальцы пирожок, опять нюхал его, кусал, ел и плакал, запивая холодным сладким чаем, это был пирожок с капустой и рублеными яйцами, и он давил капусту зубами, и катал вареный белок под языком, и смеялся бешено мелькающим елям и кедром за разрисованным морозом окном.

Когда поезд подкатил к Иркутску, Марк отважился и пошел в вагон-ресторан. Он сказал себе, опять со смехом: только не своруй ни у кого ничего, иначе тебя из страны вышвырнут. Прошел железными анфиладами вагонов, мотающихся, как белье на ветру. Набрел наконец на вагон-ресторан. Запахи еды ударили в голодный нос. Он сел за столик и развернул меню. Страница по-английски, страница по-китайски, страница по-русски! Он пялился в русские названия блюд, с наслаждением проговаривая их про себя. Уха из судака! Блины с красной икрой! Он заказал порцию борща, лангет, кулебяку с вареным лососем и бутылку красного вина. Официантша принесла бутылку, он повертел ее в руках, это было русское вино, на этикетке он прочитал: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Они мчались по Транссибирке, Иркутск, с его старинным, похожим на царский дворец вокзалом, остался позади, тайга то расступалась, то смыкала строгие хвойные стволы, а небо все так же лихо, люто светилося неимоверной, густейшей синевой. Марк упоенно хлебал борщ казенной столовой ложкой, он дышал борщом, так дышат смертельно больные целебным кислородом из резиновой подушки, да, он опять потешался над собой, неужели так дорог не только язык, не только воздух и эти деревья за окном, но даже простая еда, а он ли не едал в мире всевозможных пикантных яств, и омаров и трепангов? Официантша приходила и глядела, как он ест. Он жестом пригласил ее присесть к нему за столик. Она присела, расправила на коленях юбку. Марк дожеввал лангет и пододвинул кулебяку халдейке. «Выпейте со мной! И закусите». Он с ужасом слышал, что он говорит по-русски с акцентом. Официантша опасливо косилась на него. «Думает, что я иностранец. И что я заманю ее к себе в купе». Он, успокаивая ее, налил себе вина в пустой стакан, ей — в бокал, стукнул стаканом о бокал и положил руку на ее руку. «Не бойтесь! Расслабьтесь! Я не кусаюсь. Я русский. Просто я давно не был на родине». Женщина слабо улыбнулась. Ее улыбка не была улыбкой Будды; она улыбалась робко, доверчиво, чуть испуганно, губы ее дрожали. Может, у нее внутри жило какое-то свое молчаливое горе. Они оба выпили, Марк разрезал на куски кулебяку. Потом они пили чай. Он весь вечер сидел в вагоне-ресторане и наблюдал, как люди приходят, едят и уходят. Ничего слаще и лучше этой картины он не видал в жизни. Мало кто говорил по-китайски. Почти все говорили по-русски.

Красноярск, бурливый зимний Енисей, мутно-изумрудный, и пар стоит над ним, будто в скальных берегах течет, шумя, жуткий кипяток! Горы и кедры. Пристани, вмерзшие в лед. Железный ажур моста, пугающего мрачной мощью. Дымы над городом, над скопищем камней и людей, грохот дорог, отчаянные крики машин: гудят, как стонут! Мир, это был его брошенный мир! Его покинутая страна! Какой она стала? Он не знал. Он ехал по ней, катил, сцепив зубы, и поезд болтало с боку на бок, то бортовая качка, то килевая, а перед железной грудью тепловоза снежный океан, и вот он опять в морозной, вечно зимней своей стране, и опять нельзя согреться, и надо разводить костер, разжигать дрова, а в огонь подкладывать себя и только себя! Лучшее топливо в мире — это человек! Где Бог? Он в человеке. Где ненависть, любовь? Они тоже в нем. Чтобы их из человека вынуть, нужно его разрезать! Убить! Нужно их — у него — своровать!

Украсть и бросить в мировой костер! Лучшее горючее, что ни говори!

Дни бежали, провода поверх состава мотали тонкие нити, время тянулось и сматывалось в клубок, и Марк потерял счет времени. А собственно, зачем было время считать? Оно не имело веса, как деньги, как все краденое или даром доставшееся. Он прислушивался к себе: хочется ли ему украсть. Залезть в чужой карман. В чужую жизнь. Он слышал внутри себя молчание. Нет. Не хотелось. По крайней мере, пока. Москва возникла незаметно, заколыхались в туманном вьюжном воздухе каменные водоросли. По дну снежного океана он подползал к Москве, и ему было все равно, въедет он в нее или поедет дальше; поезд мчался, и мчался в нем он, и ему казалось, это будет вечно.

Как это говорили чудесные монахи в цыпляче-желтых, густо-малиновых, жгуче-красных одеяньях: ничего этого нет! Нет этой дороги, этих рельсов, поезда этого, гудка, что рвет ветер напополам; нет и его самого, а он-то еще слушает свои мысли, и оценивает их, и презирает их, и любит ими, и плачет над ними.

Он не узнал Москву. Он потерянно гляделся в ее многослойное зеркало и не видел там сам себя. Он гляделся в ее витрины, в воду ее реки под ее мостами, в лица ее людей, и даже не ее, а тех, кого сюда временно забросила ветренная, вьюжная жизнь; он мотался по улицам, не знал, где переночевать, сон как рукой сняло, настала страшная и пустая бессонница, и снова, как всегда, не было денег, и люди, спешащие мимо, выглядели тверже дерева, а на ощупь так и совсем стальные были. Одну ночь он ночевал на вокзале; тут уже не спали никакие бомжи, все было чинно-прилично, храпели в железных креслах новые пассажиры, бесшумно плавали по мраморному залу новые уборщицы, возили щетками по зеркальным плитам. Другую ночь он решил провести в метро; забрался в тоннель, спрятался; его поймали, высветили ярким фонарем. Выволокли на волю из-под земли. Чуть пинка не дали. Он уже согнулся, готовясь к удару ногой под зад. Еще одна ночь обняла его крепкими черными руками в чужом подъезде; он стоял у чужой батареи и грел об нее ладони, щеки и нос. Его шуганула скандальная тетка; она высунулась из двери, увидала его и завопила на весь подъезд: «Штатающца тута! Дряни вонючие! Одяжки подзаборные! А ну-ка вон отсюда! Штоб тебя больше тута не видали! Забудь этот адрес, падла!» Он вздрогнул всем телом, плотнее запахнулся в пальто, чтобы сохранить тепло, и вышел в метель. <...>

И он шел. А куда шел? Он не знал. Выходило так, что он шел сверху вниз. Вверх, вниз, таков рельеф земли; разве можно предугадать, куда ты свернешь на этот раз? Он понимал: вниз идти легче, чем вверх, но снизу будет уже трудно подняться. И что, дно было таким ровным, гладким, оно вспучивалось теплой темнотой, дышало белым равнодушным холодом, изредка покрывалось нежными морозными узорами, там вповалку лежали чужие сапоги и башмаки, чужие рубахи и пиджаки, и использованные шапунки, и надкусанные тухлые пироги, а может, еще съедобные, и скисшие, когда-то соленые огурцы, и когда-то ангорские, а нынче траченные молью свитера, и разломанные театральные бинокли, и сумки из натуральной кожи, в них голуби свили гнездо, и подозрительная труба с разбитым окуляром, и варежки с отрезанными большими пальцами, и несвежие куриные потроха в крепко увязанных прозрачных мешках, и позолоченные багеты с тяжелой красивой лепниной, и косметички с замерзшими помадами, с навек застывшими блестками для век, тенями и тушью, — да, это была городская свалка, одна из множества столичных свалок, и это вещевое месиво было шикарнее и круче любого секунд-хенда, тут можно было жить, спать, есть, пить, одеться, всем чем угодно поживиться, прихватить с собою кое-что в подарок тому, у кого в жизни не было уж совсем ничего, — а зачем говорить, что ты все это великолепии на свалке нашел? Зачем открывать миру свои тайны? Береги тайну. И свалка сбережет тебя. Так все просто.

Марк быстро привык к свалке. Свалка стала родным домом, только без крыши. Днем, при тусклом свете молочного крохотного солнца, он бродил по горам мусора, по холмам хороших и жалких вещей, рылся в них, ковырялся, откладывал в сторону то, что можно было съесть или надеть. Он нацеплял на пальцы массивные золоченые перстни. Вешал на шею грузные, с крупными звеньями, бандитские цепи. Гляделся в найденное в грязи дамское зеркальце: из куска стекла на него глядел птичий глаз и птичий клюв, и он принимал себя за голубя.

Часто сидел, обрядившись в найденное, на вершине мусорной горы; раскидывал руки, подставлял тусклому солнцу лицо, обонял вереницу запахов, и чарующих и отвратных, и к нему, застывшему неподвижно, прилетали голуби. Они, может, принимали его за деревяшку. За деревянный крест, за чучело. А может, наоборот, жаждали не-

смелого тепла, человеческого воркованья. Голуби садились ему на плечи, на руки, на колени, на затылок. Трепыхали крыльями, сизыми и белыми. Один прилетал мощный, крутогрудый, с мохнатыми белыми лапками: турман. Он потерялся. Все голуби были бродяги, а этот царь. Голуби подолгу сидели на неподвижном Марке. Он боялся шевельнуться. На его лице застывало тихое блаженство. На свалке он научился сам себя стричь, даже в зеркало не глядя, ржавыми, замысловато изогнутыми старинными ножницами; а потом и брил сам себя, вот он станок, а вот и лезвия «Gillette», тупенькие, конечно, да это ничего, можно ради красоты потерпеть. Его голова напоминала неряшливо ободранный ананас. Порезы плохо заживали, медленно подсыхала кровь. Располованная кожа мерцала гладкой синевой, щетиной, поросычьей розовостью; главное, волосы в глаза не лезли, и на том спасибо. Голуби не удерживались когтями на бритой башке. Требовалось надеть шапку. Марк натягивал курчавую кавказскую папаху, вытертую, без подкладки, папаху воняла собачьей мочой. Голуби любили, когда он надевал папаху, вцеплялись в нее, сидели, ворковали, взмахивали крыльями.

А чуть яркий луч ударит, гудок раздастся, щелчок, дальний крик — голуби разом, сизой светлой тучей, вспархивали с его плеч, рук и головы, и он, закидывая лицо, долго следил, как они тают, гаснут во вьюжной тоске, в великой синеве. Порхали, сияли, светились, бормотали свое! Улетали навек! Сиянием вставали вокруг его голой, бритой головы, и отсветы от голубиных крыльев ходили по израненной тупым лезвием коже, по впалым щекам, по лбу в извивах морщин. Голуби, вы прилетите еще! Вы меня не забываете! И я вас тоже не забуду.

Он приготавливал им еду, размачивал горбушки черствого хлеба в просроченном молоке, насыпал в жестяные миски гречку и рис и так сидел и ждал. Когда голуби прилетали вновь, он им молился.

Однажды он захотел чаю. Просто горячего чая. Он целый век чай не пил. Разыскал на свалке початую пачку дешевого чая, нашел и чайник, старый и смешной, в таких рыбаки до войны с немцем чай на берегу кипятили, со смородиновым листом и мятой. Воду добыть — нехитрое дело: вон сколько снега вокруг! Набил снегом чайник. Развел костерок. С ворами он нагляделся на живой огонь. Странно катилось время: где-то летели по рельсам поезда, в небе кувыркались самолеты, в духовках пеклись румяные пироги, а он сидел тут, у живого, старого как мир, бедного огня, и грел над ним голые красные руки. Снег в чайнике быстро растаял. Скоро вода закипела, Марк наблюдал, как со дна поднимаются и на поверхности лопаются пузыри. Представил себя самого этим пузырем. Со дна взвывается и лопнет! Заварку он бросил прямо в чайник. Кружка у него тут тоже завелась: шикарная, расписная. С ее бока на него глядел белый голубь. Он раскидывал крылья. Над голубем будто детская рука коряво, шатуче вывела: ДУХЪ СВЯТОЙ. Марк подцепил ручку чайника спущенным рукавом теплой куртки и налил полную кружку крепчайшего чая. Отхлебывал, жмурился. Что тебе чифиры! Пил и медленно пьянел. Вспомнил свои севера. Сияние голубиное. Крылья неба. А что, хватит уже топтать по земле. Может, надо уже пожитки в дорогу собирать. В самую главную.

Подумал об этом — и кружку ото рта отнял. И на колени поставил, и коленями сцепил. Железо кружки прожигало брюки. Марк глядел на свои башмаки. Здесь нашел. На брюки. Здесь отыскал. На кружку и коричневый чай в ней. Здесь обнаружил. Все здесь. Свалка ему подарила все. Как же ему ее не любить?

И разве, кроме свалки, он найдет сейчас кого-то ближе, роднее?

Спал он в шалашике; утеплил его со всех сторон разным тряпьем. Ляжет, в клубок свернется, надышит — вот оно и тепло. Правда, бывали дни, когда он просыпался и еле разгибал руки и ноги, сведенные холодом. Краем сознания он понимал: еще год-другой такой жизни — и загнетса он, вместе с голубями в зенит улетит.

«А что, и улечу. Разве нельзя?»

На самом дне жить — с волками, с собаками выть. Собаки прибежали часто. Иные его кусали за ляжки. Он отгонял их, швырял в них камнями, вещами и скомканными бумагами. Бросал им съедобные куски; потихоньку собаки привыкли к нему. Из леса, ближе к весне, приходили волки. Они не приближались к свалке. Марк слышал их вой поодаль, и все волоски на его отошлом теле вставали дыбом. А потом он и к волчьему вою привык. И жалел волков. Собаки, только дикие. И так же, как мы, есть хотят. И так же, как мы, ласкаться и любить.

Он уже не хотел любви и ласки.

А может, просто себе не признавался в этом.

Дно перейти вброд. Зачем? Не лучше ли залечь на дно? Залечь на грунт? Вода сомкнется. Никто не просветит острым взглядом такую глубину. Дно илом затянет. Смерть — это океан. Все спокойнее он думал о смерти. Она вставала перед ним грозовой тучей, ложилась послушной собакой. Не выла, хвостом не виляла. Лежала, как каменная. И он мог ее всю рассмотреть.

Совсем не страшная. Жесткая. Железная на ощупь. Железные кости. Железо хрупкое, не ударяй кулаком, рассыплется в прах. Глаза под мертвым собачьим черепом живые. Смышленные. Все понимают. Она все понимает, смерть, про тебя. И про себя тоже. Зачем ей слова? Она ждет, когда ты сам так устанешь говорить, что рот твой станет землей и глаза твои станут землей. Ты будешь глядеть, а из глаз твоих будет глядеть земля. Разве мы боимся земли? Разве земля боится нас?

Руки его рылись в вещах, он повторял себе слова красных монахов: ничего этого нет, нет. Однако вещи были, они бугрились под руками. Однажды вещи раздвинулись, и на их дне он увидел ребенка. Девочку. Девочка спала. Она зарылась в старые вещи и гнилые отбросы, и ей стало тепло. Вещи и еда отдавали ей свою жизнь. Марк дрожащими руками отодвинул с ее лица дырявую козью шаль. Восточное личико, какое нежное! Она не просыпалась. Но мертвой она не была. Тихо дышала. Он вскипятил свой ржавый чайник. Заварил чай. Поднес к холодным губам девочки свою железную кружку. Тыкал кружкой ей в рот. Она стонала и отворачивала лицо. Потом глотнула из кружки. На ее лице нарисовалась улыбка. Марку показалось: это голубь слетел и мазнул ей по губам крылом.

Он взял девочку на руки. Маленькая, худенькая. Он давно уже не мог определить возраст никакого человека. И свой тоже. Откуда ты, бродяжка? А может, ты из приличной семьи? И про приличия он тоже уже ничего не знал. Земля стирала перед ним грязное белье в снежном чане. Метель стирала все различия между волей и тюрьмой, кражей и святостью. Он вдруг захотел отдать этой малышке, дрожащей на его руках, все, что он когда-либо своровал и присвоил.

Девочка дышала часто и молчала. Улыбалась. Марк прижимал ее к груди. Тихо с небес слетал снег. Он слышал толчки ее сердца. Она казалась ему котенком. Откуда-то он знал ее. Помнил. Но когда он пытался вспомнить ее, она улетала у него из рук веселым голубем.

Они стали ютиться на свалке вместе с бродяжкой. Он все время всматривался в ее лицо: все еще пытался узнать. Время молчало, не раздвигалось перед ним. Он находил ей в кучах объедков лучшие куски. Угощал ее с ладони. Она молча, улыбаясь, брала. Ела не спеша, деликатно. Слишком поздно, трудно, он понял: она немая. Вдобавок она плохо слышала. Глухая и немая, вот чудеса! Голубка, шептал он, голубка.

И верно, она слетела к нему с небес. Легчайшие облака еще не успели прогнать. Ветра еще не свились в грязный бельевой ком. Широко раскинутые крылья, открытая всем пулям птичья грудь. Губы клюют, острый глаз глядит в будущее. А может, в прошлое. Такой глаз лучом просвечивает всю толщу воды, до дна. Глаза в глаза! Гляди! Ты все равно не вспомнишь этого ребенка. Он послан тебе, чтобы ты все забыл.

Тот, кто все забыл, свободен и счастлив.

Ты когда-то был вор; а сейчас ты — счастье и свобода.

Так дари их людям. За пазухой не держи.

С маленькой глухонемой девочкой, черненькой, нежной и смуглой, он иногда выбирался со свалки туда, где жили люди: к домам, к дорогам. Машины пыхали бензином. Вывески рьяно горели во тьме. С девочкой на руках Марк подходил к придорожным ресторанишкам, видел, как за окнами, за раскрытыми в ночь дверями пылает и полыхает чужая наглая жизнь: тела, обсыпанные блестками, лукаво изгибались, бесстыдно обнажались, руки жестоко срывали одежды, рты многозубо хохотали, женщины, похожие на скользких рыб, уплывали прочь от мужчин, что уже задорого купили их, и вино, и жаркое. Все любили и умели наслаждаться. А вокруг сгущалась нищая тьма, гудели заляпанные грязью легковушки и грузовики, железные коробки сталкивались на каменном стрежне, наползали друг на друга, холод пробивали огненные свистки и яростные вопли, и когда все кончалось, вдоль шоссе тек одинокий черный ручей, тихий бедный плач. Марк не показывал девочке красивую и злую жизнь за стеклами больших окон: он закрывал ей ладонью глаза.

Они возвращались на свалку, и жизнь входила в русло. Марк заботился о немой. Немая улыбалась ему. Так они, каждый, дарили себя другу другу.

Часто они сидели так: Марк брал ребенка на руки, прижимал к себе, девочка спускала ноги с его колен, он ощущал на коленях живую детскую тяжесть и радовался ей. Так они могли часами сидеть, молчать. Слова им были не нужны. Он держал на руках жизнь.

Сидели так однажды. Вдруг сердце у Марка заболело. Застучало с переборами. Он прислушался к стуку внутри. Уловил в этом стуке забытую тоску. Нет, он не вспомнил имя. Не увидел давние прозрачные глаза. Он ничего не увидел. Девочка глухая и немая, а он ослеп. Ослепла его душа. Зрение он не мог своровать ни у кого. Времена изменились, сместились. Он не узнавал свое время в лицо. Не видел его. Из тепла ребенка на его коленях, из глухой тоски родился настойчивый стук, он повторялся, звучал внутри, бил мерно и медно: ДОМ. ДОМ. ДОМ.

Будто сотни, тысячи голубей слетели к нему с небес и облепили их обоих, уселись на них, били крыльями. Светили, светились. Птичье горячее тельце девочки о чем-то молча говорило ему. И он, обнимая ее, понял, что всю жизнь, по всем градам и весям, по всей земле и великим и малым странам ее шел домой. Домой.

ДОМ. ДОМ. ДОМ — стучало под старой курткой сердце ребенка.

А может, его собственное.

Он стал ребенком. Он вернулся в себя; и боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть себя самого.

Это девочка, как мать, держала его на забытых руках и ничего не говорила ему, потому что в смерти не говорят; там только улыбаются и плачут.

Он увидел кольцо, круг свой по широкому миру; широким поясом он обнял землю, всем собой, он не хотел, так получилось, собой он обхватил, обвертел горы и города, океаны и острова, воздух сгущался под ним, он падал в синеве, погибал и снова поднимался, он увидел себя вроде как сверху: да, живой такой пояс, со смеху умереть, землю собой обтянул, а на ком он сейчас, никчемный пояс? вот на этой теплой, живой немой девочке? как это отец над ним, века назад, шептал: живой в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится, отец шептал, а Марк думал: живой всегда, живой везде, ведь это же значит, он бессмертен, и все бессмертны, а вот бы украсть у Бога бессмертие, пусть бы Бог умер, а он бы жил вечно; и они бы все жили всегда; кто все? люди? или только его семья? бедный отец, бедная мать? он бросил их ради земли, ради того, чтобы стать живым в помощи Вышняго поясом земли или чтобы стать великим

вором и своровать всю землю, со всеми ее богатствами и сокровищами — для себя, лишь для себя?

Он встал, покачиваясь, и опять пошел вперед. Со спящей девочкой на руках.

Он долго шел, свалка осталась позади, за его спиной, веером разворачивались грязные дороги, он выбирал одну из всех и медленно шел по ней, шел, глубоко дышал, устал идти, живая тяжесть оттягивала руки, дома шли мимо него, машины ехали мимо, дымы мимо него летели и умирали, шел-шел и набрел на дом с широким пустым крыльцом, дверь слегка отъехала в сторону, ее покачивал ветер, он низко согнулся и тихо положил ребенка на крыльцо. Девочка спала. Она так и не проснулась.

Он, прежде чем уйти навсегда, еще раз посмотрел на ребенка, которого он подобрал людям.

Это мой ребенок, сказал он себе, это настоящий мой ребенок. Я узнал ее. Она похожа на меня.

Уходя, пятился. Помахал девочке рукой. Она спала и не видела, как он прощается с ней.

Повернулся и опять пошел.

Он же не червяк, чтобы ползти и пресмыкаться. Он человек.

И ловкий. И умелый. Он еще раз сворует у времени самого себя. Еще раз. Последний.

Он добрался до вокзала.

До того, на который приехал когда-то желторотым птенцом, воровским юнцом.

Зайцем сел в пыльную электричку с бельмами замороженных окон. Выпрыгнул на дальней станции. Пошел вдоль рельсов на восток.

Все на восток и на восток. На восход солнца.

Шел и повторял себе хриплым, простудным шепотом: домой, домой.

В дороге у него от башмака, найденного на свалке, отвалилась подошва. Он привязал ее к башмаку веревкой.

...бать, я привязал подошву к башмаку веревкой, и так вот ковылял, так и шкандыбал, не пойми как, подошва то и дело отваливалась, и я ее то и дело привязывал, прикидывал: за сколько дней я этот путь пройду? а может, месяцев? а может, мне на попутке добраться? ноги-то не резиновые, старые уже. А может, я научусь милостыньку просить? И мне будут подавать. А что, бабы, они сердобольные, они добрее, чем мужики. Мужик тебя еще с ходу в торец двинет, а баба — что баба, она знает дело туго. Жалеет! Вот и меня, бродягу, пожалеет.

Батя, и правда, бабы встречные совали мне кто что: кто монетку, кто бумажку, кто вареную картошку в кульке, кто посыпанную сахарной пудрой плюшку, все, что при них имелось, то и совали, бормотали: на, пожуй, бедняга! ой, бедолага! — и я, втихаря оглядывая себя, соображал: выгляжу уж очень плохо, должно быть, если так истово причитают. Одна старуха, правда, нашлась. В семье не без урода. Увидала меня, а я как раз рядом с чужим вокзалишком стоял, милостыню клянчил, да как завопит: заразу разносят! чума, холера! нашествие какое этих гадов восточных! дави их, гадов раскосых, вонючих! работать на нас не хочет, видишь ли, побирается, старая собака! езжай в свою Тьмутаракань, в свою пустыню дерьмовую, в свою Мусульманию проклятую, а нас не трогай, не мутузь! и так испоганили нам тут все! взрываете бомбы в метро! девок наших портите! да вы, гады, мировую войну против нас замышляете! да что там, сволочи, вы ее уже ведете! Она орет без перерыва, а я соображаю, она ведь меня за азиата принимает; что, так я зарос и так стал раскос, глаза опухли, почки уже ни шиша не тянут, глазки в шелки превратились, вот я и вызвал в ней ненависть, да такую, дай ей волю, в клочки бы меня разорвала, волчица. Я ей говорю: мадам старуха, вы Пико-

вая дама! зачем вы так блажите? горлышко поберегите, а то охрипнете! Никакой я не азиат и не гастарбайтер, русский я, русский, и иду я домой, слышите, бабушка, домой! домой! И для верности еще раз повторил, как заклинание: домой! домой! Она осеклась. Гляжу: стоит, не верит. Но вопить перестала. Всматривается в меня. И тут у нее губа запрыгала. И я еле различил ее шепот: сгинь, мужик, отсюда, пропади, не попадайся мне на дороге, вот такие, как ты, подзаборники мою внучку в проходном дворе растерзали, двоих нашли, а двое убежали, а уж такая внученька была, чудо, загляденье, еще години не было. Вечная память. Сгинь, собака раскосая!

И я прикрыл глаза рукой и отошел в сторону. И вошел в подворотню, и сел перед сырой грязной стеной на корточках, и плакал горько.

<...>

Он слепо стоял перед дверью, качался. Глотал воздух лоскутами легких, как вино. Пил его, пьянел. Никак согреться не мог. Дрожал. Надо было позвонить. А может, постучать. Над его лбом моталась кнопка звонка. Он поднял руку, чтобы позвонить. Потом опустил и положил ладонь на дверную ручку. Нажал. Дверь подалась под рукой. Он стал толкать дверь вперед, она открылась широко. Он вошел. Оставлял следы в прихожей. Дышал шумно, тяжело. Хрипел. Старался не кашлять. Хрипы раздирали грудь. Сам себе казался старой тряпкой, и ее рвут на части сильные руки. Прошел в комнату. В кресле, спиной к нему, сидел старый лысый человек в красном халате. Руки старика лежали на подлокотниках кресла. Руки задрожали. Вцепились в подлокотники. Медленно, трудно старик встал. Колени его подгибались. Он обернулся. Марк шагнул вперед. Хрипы в груди kloкотали. Ноги перестали его держать. Он повалился к ногам старика. Наклонил голую, в колючках волос, грязную голову. Шапку, похожую на гриб, он где-то потерял. Может, еще когда вдоль рельсов шел. А может, около серого прозрачного катка. Он сказал старику: отец! — а старик затрясся и вымолвил ему: сынок мой! — и положил руки ему на плечи.

И так они застыли оба. Красный халат Матвея огнем лился с его плеч, и время сначала горело вокруг них огнем, а потом пламя сковало мороз, и костер застыл, и лохмотья времени вил и трепал подземный ветер вокруг них, а волосы вокруг лысины старика поднимал ветер небесный, и влетал небесный ветер в раскрытый, страшно плачущий рот, и отвалилась от сапога насмерть прикрученная веревкой гнилая подошва, и глядела на бедный мир голая нога, и глазами целовал отец ногу ребенка своего, и руками целовал плечи его и щеки его, и прижимал голову его голую, колючую к груди своей, и шептал нежное, ласковое, а сын дышал хрипло, тяжело, теперь можно было так дышать, не надо было стесняться ничего и бояться, он ведь шел и дошел, он дошел домой, и это его отец крепко обнимал его, и слепо и счастливо рыдал над ним, и, еще живой, сливался телом и душой с ним, еще живым.

Еще...

...и вот, батя, еще живой я, живой, сам себе так думал, шел, и кашлял, и вот дошел, видишь, дошел и здесь лежу, перед тобой лежу. А знаешь, как я боялся входить домой! Не знаю, как боялся. Руку никак не мог поднять, постучать, позвонить. Руку судорогой свело. Я уж, знаешь, хотел деру дать. Ну, думаю, какая разница, где подыхать, в родном доме или в чужой подворотне. Бродяга я и есть бродяга! Забыл я, что такое дом! Забыл, а ведь вот потянуло! А может, так надо, и правильно потянуло? Батя, батя... Ты меня прости, нарасказал я тут тебе всего. Всякой дряни. Голову тебе заморочил! Знаешь, как наши воры, столичные, говорили: не морочь мне яйца! Ах я гад, гад. Гаденыш я, батя. Зачем я только тебе эту жизнь свою всю вывалил! Завалил ведь просто тебя ею. Все, что накрал — держи, батя, все твое! Я щедрый! Мне не жалко! Я и еще наворую! За мной не заржавеет!

Не слушай меня. Ерунду мелю. Язык мой без костей. Сейчас боли нет. Но скоро придет. Спешу тебе все сказать, чего раньше не говорил. Но, бать, я не мальчишка! Не тот юнец зеленый, что из дома удрал красивую жизнь искать! Нет! Измочаленный я. Мочало я липовое! Осталась половина меня. Боли нет пока, но скоро она будет. Опять. Опять накатит, сволочь!

Вот накатит, буду сначала терпеть, потом орать, а в это время мозг, бать, знаешь, думает обрывками мыслей: а сколько времени человек подышает? месяц, два? три? полгода? Если полгода такого ужаса, я точно не выдержу.

Что ты, бать, такой смурной сидишь? Навел я на тебя тоску? Эх я дурак. Надо было помягче, помягче! А я тебя всем своим ужасом взял да и покромсал. Ты, хирург! Ты так, как я, своих больных не кромсал. Ты их щадил. А мне кого щадить? Бать, боль такая временами, что на стенку полезть и бегать по потолку — вот что охота. Даже не так! Не так! А выть, выть. Ну я и вою! Батя, ты прости меня, что я тут у тебя вою, как волк! Волк я и есть волк! Погибаю я! И это оказалось так больно, больно! Если так дальше пойдет, я от боли такой глаза себе сам вырву! Ребра сам себе сломаю и сердце свое в кулаке раздавлю! Не хочу я жить с такой болью! В ней жить не хочу! Внутри нее! Не могу больше!

Бать, а иногда, знаешь... как хочется курить... аж уши пухнут...

Батя... Батя... А вот мысль мне пришла... Батя, родненький! а сделай мне укол! Какой, какой... Все такой! Последний. Ведь делаешь ты мне уколы, от них боль проходит. На время — уходит. Потом опять идет, и я опять не человек, а боль. Я в нее превращаюсь! И нет ничего, кроме боли! И меня нет! А на хрена мне такая жизнь, если меня уже нет?! Батя! Прошу тебя! Вкати мне укол, а! Ну чуть побольше зелья в шприц набери, а! Ну влей ты смерть в меня! Пожалуйста! Не могу больше жить! Не хочу! Не хо... чу... <...>

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ

Марк кашлял все сильнее. Матвей вынужден был быстро подбегать к сыну, когда он задыхался, сотрясаясь, и на полотенце, на салфетку подхватывать все, что он вулканно извергал: кровь и слизь, ошметки легких, все прожитое, пережитое, уже отблевшее и отгнившее, не нужное нигде: ни на земле, ни на небесах. Вытерев Марку бесильно приоткрытый рот, а после обтерев его щеки и подбородок мокрым полотенцем, Матвей, сутулясь, сел — когда на табурет, когда на диван рядом с Марком, чтобы чувствовать своим телом слабое, уходящее тепло его высохшего, слабого тела. Тело Марка отдавало тепло отцу через тонкое овечье одеяло. Пододеяльник весь в пятнах засохшей крови. В дырах: разлезается ветхая ткань, а Марк ее мнет в пальцах и даже такими слабыми, беспомощными пальцами и ногтями — рвет. Истончилась жизнь! Сквозь дыры льется последнее тепло. Зачем оно? Оно же не молоко, чтобы утром кружку выпить. Ученые говорят, время настанет, и погаснет в мире весь огонь, и все обреченно остынет, и покроется седым слоем льда. Страшное, должно быть, время придет. А огонь чем лучше? Сгореть заживо, тоже приятного мало. Все идут к обрыву. И в него упадут, а на дне пропасти — костры. И сгоришь, рано или поздно.

Матвей услышал, как сын заходится в кашле, бросил половник в кастрюлю, железо звякнуло о железо; сломя голову побежал отец в комнату; приподнял голову сына, чтобы ему удобнее было кашлять и он не захлебнулся. Кровь поползла из угла рта. Матвей ловил ручей крови кухонным, в масле, мятым сырым полотенцем.

— Вот так, так, сыночек... кашляй... сейчас легче станет...

Он врал ему.

Воровал у сына правду.

Утер ему рот, спиной содрогался, глядя на кровь на полотенце, кусал губы.

Марк перестал кашлять и отдышался.

— Бать... посиди... тут...

— Да у меня там суп.

— Вы... выключи...

Матвей послушно побрел на кухню, выключил газ и вернулся к больному. Марк глядел на него круглыми, неподвижными глазами подраненной совы.

— Батя... я... спросить хотел.

Он все еще тяжело дышал.

Отец смотрел на него, приоткрыв рот так же, как он.

— Да!.. да... да-да, давай...

Марк пошевелил рукой, она лежала поверх одеяла высохшей зимней веткой.

— Ты знаешь, бать... — Он облизнул губы. Слизал с нижней губы кровь. — Очень одиноко мне. Просто ужас как одиноко. Я... один... тут...

Матвей ужаснулся и протянул руки, чтобы за руки сына схватить, — но не схватил, руки в рывке остановились, замерли; жили отдельно от Матвея; дрожали над одеялом, над грудью лежащего.

— Что ты?! — Крик вырвался из него помимо его воли и испугал его самого. — О чем ты!.. как ты можешь... Я-то ведь — рядом... я все время здесь, сынок... ну... иногда ухожу... но ведь по хозяйству... или в больницу, за лекарствами, в аптеку... но я же быстро, быстро прихожу!.. ты и оглянуться не успел, а я уже пришел!.. что ты такое говоришь... что...

Матвей озирался по сторонам, будто наблюдал мышей, россыпью раскатывающихся по грязному полу.

А увидел кошек; кошки вышли из-за приоткрытой двери, их черные тонкие хвосты завивались крючками. Кошки исхудали: Матвей их плохо кормил. Некогда было. Он забывал о зверях и помнил лишь о человеке.

— Да нет... — Больной поморщился. — Я не про это, бать. — В груди у него закатало, и он хотел еще покашлять, а вместо этого немного похрипел и побулькал, как суп в кастрюле на плите, влажно и стыдно. — Одиноко мне. Вот тут. — Он слабо хлопал себя ладонью по груди. — Тут — одиноко! Жутко мне тут. — Он прислушался к себе. Закрыв глаза. Потом опять открыл. Глаза тускло светились подо лбом, светляками на болоте, огнями в черноте лабрадора. — Знаешь, как жутко! Завыл бы. Да ведь я не собака.

— Нет. Не собака.

— Лежу тут один... выть хочу... сердцем вою... и думаю: вот бы стать бессмертным!

Матвей прижал руку ко рту.

— Ох ты!.. эка куда хватил...

— Да! не умирать никогда. Или, может, знаешь... уснуть на сотни, на тысячи лет, просто уснуть... а потом взять да и проснуться? И опять жить, а потом опять уснуть, а потом опять пусть тебя разбудят. И опять жить! Все время жить и жить! Жить!

Марк прохрипел это «жить!» так мучительно, взорвал этим словом себе грудь и рот, и оно, попав в Матвея, пробило ему грудную клетку и выкатывалось, выливалось из разверстой ямины плоти на рваную майку, на штаны, на полотенце, на одеяло.

— Жить... да...

— И вот, бать, я еще думаю. Я умру, а может, в это самое время возьмет да родится другой я?

— Какой другой ты?

Матвей растерялся.

«Пусть лепечет, что хочет... не буду останавливать... и спорить тоже не буду... работа мозга, работа мозга... все уже гаснет, все...»

Он вдруг понял. Все понял, что сын хотел сказать.

— Ну, другой я. Такой же человек, как я. Ну не такой же внешне... а... внутри такой же. Родится... и будет... ощущать себя, как я. Ну, говорить и думать о себе: я! я! Ну, это буду я! Настоящий я! Один я лежу в земле... закопали уже меня... а другой я — вот он я! На земле! Скажи, разве так не может быть!

Матвей кусал губы.

— Да я понял, сынок... я понял... может... все может быть...

И вдруг Марк приподнялся на диване на локтях.

Для него это было невозможным усилием. Но он приподнялся.

И так, уперев локти в диван, поднимая на локтях тщедушную грудь, впалый живот, и костлявые плечи, и дрожащую, как у чучела на ветру, бритую голову, и шею, обтянутую темной обвислой кожей, с торчащим кадыком, держа на ломких костях всего себя, всю свою жизнь, как гнилое коромысло, он проорал хрипло, прямо глядя в лицо отцу:

— Да врешь ты все! Врешь! Есть только один я! И вот он я! А другого нет! И не может быть никогда! Никогда он, другой, не родится! Я — больше — никогда — не рожусь!

Локти подломились, и он упал.

Так падает со стола небрежно смахнутый полотенцем зазевавшейся хозяйки сырой, только что слепленный беляш.

И тесто, шмякнувшись, растекается по полу; и мясо вываливается на половицу, и наступают рассеянная хозяйка, в окно засмотревшись на ярко горящий церковный купол и заслушавшись пасхального колокольного звона, всею ногой в разношенном тапке на месиво, что у нее под ногами лежит на полу. Жизнь — лишь на миг быстро слепленный ловкими руками беляш; его съедят, или бросят собакам, или растопчут на скользком полу.

В мире нет ничего, что осталось бы навсегда.

Матвей судорожно, быстро гладил сына по мокрому голому, колючему лбу.

— Сыночек... ты не плачь... А может, родишься... И будешь снова — я... Ну, в смысле, ты... Ты сам... Только ты... Ты один... А я... А где же буду я?..

Отец смутился.

«А правда, где же буду я?.. А черт со мной... наплевать на меня...»

— Ты?

Марк царапал ногтями одеяло.

— Я... хотел бы опять... в той новой жизни... видеть тебя...

Марк рассмеялся тихо, странно и хрипло.

Он теперь все время хрипел: дышал — хрипел, говорил — хрипел.

— А это уж, батя, как твой Бог захочет!

— Мой?.. Бог?..

Одна черная кошка подошла, выгнула тощую спину, сквозь шелковую шерсть просвечивали позвонки. Другая черная кошка коротко и нежно мяукнула, ухватила лапками за бок кресла и стала весело драть и без того драную обивку.

— Брысь! — крикнул Матвей и махнул на кошку рукой.

Кошка села и молча смотрела на Матвея, как черный сфинкс.

Марк дышал хрипло и трудно.

— Батя... — Царапал ногтями, как когтями, простыню, край дивана. — А покажи мне...

— Что?..

— Жука... Ну, жука. Ты помнишь жука?

Матвей через миг-другой понял: сын говорит о темном ночном жуке в синей спичечной, старинной коробке. О последнем подарке навсегда ушедшей матери.

Как и зачем он вспомнил жука? Мертвого, гладкого, блестящего, как царская брошь?

Матвей встал с дивана, пружины лязгнули, неверно, пошатываясь, постоял и медленно, шаркая ногами, пошел к письменному столу. Выдвинул ящик стола. Книжки, тетрадки, записные книжки, очечницы, сломанные фонендоскопы, старые тупые скальпели с ручками, обмотанными изоляционной лентой: давно служили как домашние резаки: веревку обрезать, бумагу разрезать. Крючились сухие пальцы, шарили, искали. Нашли. Спичечная синяя коробка вытянута, улеглась на ладони. Отец вернулся к дивану, снова сел, снова звякнули пружины. Он поднес коробочку к щеке Марка и медленно, будто делал инъекцию, коробку открыл — большим пальцем. Опустил чуть ниже. Положил на подушку. Пальцами придерживал. Марк косил, косил коровий глаз и все не мог так скосить, чтобы увидеть.

— Жук... ты все врешь, бать... нет его тут, никакого жука... а я же его с детства...

— И я — с детства...

— Где он?.. выкинул его ты, в окно выбросил... Или — кошки сгрызли...

— Да вот же он, вот...

Марк поворачивал голову на подушке так трудно, что Матвею показалось — он слышит скрип шейных позвонков. Матвей взял коробку двумя пальцами, а пальцем другой руки придерживал жука; поставил коробочку стоймя, на попа, и поднес к носу больного.

Бритая, в колючках и пуху, голая голова сына тихо светилась в полутьме.

— Видишь?.. Видишь?..

У жука отломилась сухая лапка и невесомо упала на одеяло.

— Вижу.

Марк слабо и глупо улыбнулся.

Матвея от этой улыбки скрутила судорога.

Не тело скрутила; то, что находилось внутри тела и снаружи его.

— Красивый?

— Еще какой.

Марк шевельнул рукой. Отец понял: он хотел жука потрогать.

«Детство свое хочет потрогать. Значит, скоро».

Он поднес коробку к руке сына. Сын осторожно, опасливо поднял руку и прикоснулся к хитиновым надкрыльям.

— Гладенький... Мертвенький... А когда-то был живой... Летал, жужжал... Мне, бать, в детстве казалось: он леденцовый... Я хотел его лизнуть... а вдруг — сладкий...

— Да... Мы все в детстве так... Что блестит — то и лижем... И хотим присвоить, украсть... Я вот маленький был — у тетки хотел брошку украсть... она ею ворот кофты закалывала... кружевной... Тоже... хотел стащить — и лизнуть, пососать... Сынок, а обедать?.. Ты хочешь покушать?.. пойду супчик разогрею... а?..

По щекам Матвея медленно, торжественно катились мелкие, как окуневая чешуя, мутные слезы.

<...>

* * *

Вслед за криком обрушилось молчание.

Тишина давила на затылок и железными руками обнимала за плечи. Нечего было и бороться с тишиной: она победила бы все равно. В тишине иногда тонко и хрипло мяукали черные гладкие кошки; они двигались бесшумно, крестя нежными лапками пыльный пол, и на пыли пола оставались отпечатки лап — оттиски жизни, что завтра

сметут поганым венником. В тишине скрипели диванные пружины — это отец садился на край дивана рядом с неподвижным, каменным сыном и легко трогал его за руку. Гладил руку. Сын не шевелился. Отец неслышно вздыхал. Глядел, как сын спал. Или пребывал в забытьи?

Матвей столько раз видел последние мучения человека, что душа его покрылась коркой равнодушного, врачебного льда. Если жизнь закончена — кто тебе ее вернет? А судьба врача такова: возвращай во что бы то ни стало! Тащи из черноты — опять в страдальный свет! Врач, ты же палач. Ты не даешь человеку спокойно уйти. А что, Матвей, ты хочешь стать сегодня — доктор Смерть? Эх куда хватил! Такого звания ты еще не заслужил.

А что если... последний укол...

...и все, все кончено, все... без мук, без боли...

В тишине сын открыл глаза.

Глаза, два слезящихся, мутных жалких зеркала; два осколка любви.

— Ты не спишь, сынок?

Марк разлепил запекшиеся губы и пошевелил губами. Сухо-наждачные, они потерлись друг об дружку. Он силился выдавить слово.

Не мог.

— Сыночек...

Марк схватил ртом воздух.

— Бать... я это...

— Что?

Матвей наклонился над ним; так курица распахивает старые крылья над цыпленком.

— Батя, меня... мучит одно. Страшно, батя, мучит! Не могу. Даже вот... во сне приснилось...

Матвей бегал глазами по темному страшному лицу, щупал зрачками, обнимал душою впалые щеки, щетину костлявого подбородка.

— Скажи...

— Вор... вор... к лешему все эти кражи... все!.. кроме одной. Я же, батя, не человек вышел! А — перевертыш! Как я со Славкой... с мертвым... потом-то... после той выставки... ну, в той галерее... С мертвым — расправился... с мертвыми, батя, оказывается, можно расправляться не хуже, чем с живыми... Лысый устроил мне выставку, батя, в Кремле... нет, я не сплю... и я не брежу... в Кремле... поверь уж... первые лица государства... картинки мои... ну, то есть, Славкины... в толстых золоченых багетах, как в Эрмитаже... в Лувре... а ко мне, батя, подбегают девочки-мальчики... и в руках у них микрофоны трясутся, как... черные сардельки... и они сардельки те мне в рот суют... и тархтят: ах, Марк!.. ах, какие сплетни вокруг вас!.. ах, черт возьми, какие слухи!.. да вас же грязью обливают!.. на вас же пальцем показывают и шипят вам в спину: вон, вон он идет!.. ну, который великого художника обокрал!.. обчистил!.. картины его присвоил!.. А скажите, пожалуйста, это правда или нет?.. нет, нет, мы, конечно, не верим!.. ни минуточки не верим!.. ничуть!.. но, может, это все-таки — правда?..

Задохнулся. Глотал воздух короткими хриплыми глотками. Отец подsunул ему под голову подушку-думку, чтобы лег повыше. Дышал так же тяжело, как сын: вместе с ним, его повторяя.

— И что?..

— И то, батя... Я... свалил... свалил с больной головы на здоровую... я так захотел обелиться!.. И я в эти черные сардельки... стал бормотать: да я, да я... да он!.. вы знаете, что он — настоящий вор, а не я!.. Он все украл у великих!.. у гениев!.. одну картину — у Леонардо списал!.. а другую — у Врубеля!.. а третью один в один сдул у Курбэ! Он же вор, беззастенчивый воришка!.. все, что можно, у гениев слямзил!.. И — у меня!..

Да, у меня!.. Препоганейшая история, эй вы, люди, папарацци!.. прямо для вас историйка, жареная!.. жареный гусь!.. У меня, у меня одного он, гад, Славка, все картины списал! срисовал!.. тютелька в тютельку!.. уворовал!.. скопировал!.. Я орал это... орал им в лица... сардельки перед моей рожей тряслись... руки тряслись у них... диктофоны писали мой голос... а я врал... орал и врал... врал и орал... я кричал: а все у меня украденные картины сгорели!.. Да, сгорели!.. весело в огне трещали!.. Я сам их сжег!.. Сам!.. Я... взломал мастерскую вора... и выволакивал холсты на снег... и жег их... жег... за сараями!.. Пламя до неба... ночь... костер... я жгу жизнь... мою?!.. не мою?!.. уже не знаю... но жгу!.. И сожгу все до пепла!.. до нитки!..

В груди у Марка клокотало. Кровь полилась изо рта. Матвей рванул из-под подушки измазанную кровью тряпку и прижал ко рту сына.

Марк руку отца — оттолкнул.

— Я... во имя себя... спасения своего... оболгал другого... мертвеца... несчастного... оклеветал!.. да что там оклеветал... нет, бать, это хуже дело... это... я не знаю, как это назвать, эту погань, то, что я сделал... но жжет мне это душу! Жжет! Жжет!.. жжет...

Пальцы Марка скрючились. Он по-зверьи царапал простыню. Из-под век у него выкатились две твердые стеклянные слезы.

Матвей обнял его запястья руками.

Запястья сына показались ему сухим хворостом. Где печь, чтобы сгорели?

— Сынок... Ты не печалься. Ведь все оно прошло. Прошло.

— Да... Прошло...

Стал кашлять и кашлял долго. Кровь изо рта по щеке и подбородку лилась на тряпку, на подушку. Матвей плакал и вытирал кровь. Кашель утих. Матвей все ждал с ужасом, когда Марк опять закричит от боли. Он не кричал.

— Может, уснешь, сынок... а?..

Капельница серебрено светилась во мраке.

Марк шевельнул ногами под одеялом. Из-под одеяла высунулись и горели во тьме тусклым, мертвенным синим светом голые ступни.

— Не хочу спать. У меня все внутри... как ножами режут! Режет меня мое вранье. Мое воровство! Я не брошку тут чужую своровал. Не иконку в церкви. Я — жизнь чужую... своровал! Котик сливочки слизал... и... и на Машеньку сказал... Я оклеветал мертвого человека! Даже не живого — мертвого! Вымазал его грязью! Прилюдно! С ног до головы! Назвал его, честного — подлецом и вором! Его — собой — назвал! Да ведь я же его сам и убил! Скажешь, не хотел?! Выходит, хотел! Я все всегда делал, что хотел! Я — играл с людьми! В свою игру играл! Батя! Кто я на земле был такой, а?! Ну вот кто, кто?! А... не знаешь, что сказать... Назвать боишься меня. А я, я — знаю, кто я! Я — подлец, вор! Убийца я...

Стал мотать головой по подушке. Бешено, исступленно. Глаза таращил.

— Нет! Ты не убийца! Сынок! Нет!

— Да!

— Нет!

— Да! Я вор и убийца! Оборотень! Оборотень! И я с этим — умираю! И худо мне, дико мне, томно... тошно мне... гадко, жутко, батя! Жутко! Страшно!

Бросил мотать головой. Застыло, мертво, подземно горящими глазами глядел на отца. Глаза выкатились из орбит, белки отсвечивали то желтым, то голубым, их расчерчивали тонкие красные прожилки, и само глазное яблоко вдруг почудилось Матвею землей — той землей, что всю обогнул его несчастный последний сын, вернувшийся будто с войны, а на самом деле — из преисподней, а может, с того света, ведь там, где он побывал, никому больше не побывать никогда. Земля медленно вращалась, тяжело оборачивалась вокруг своей оси, выкатывалась из-под облаков и ураганов, вздрагивала,

ее океаны лились слезой, разъедали солью камни и пески. Земля, она тоже была человек, грешное существо, и она плакала слепым глазом по себе, по тебе. По всех, кто стекал, умирая, последней слезой по ее старой, корявой, бедной щеке. Нет, не слепая! Она — нас — видит! Видит — всех! Каждого...

Гляди... мы — голые... в тебя — кто как ложится: кто голый, кто одетый...

— Сынок! Не надо так! Не мучь ты себя! Грех на тебе...

Перед Матвеем вдруг будто молния ударила, и половицы подожгла, и огонь заполыхал и заметался.

Он понял: тяжело с грехом — умирать.

«И ведь не верит он ни в какого Бога... и никогда не верил... а вот бы покаяться... да ведь и я тоже!.. не верю... а кто у нас веру-то украл?.. кто?..»

Крючья больных пальцев царапали, царапали простыню.

Простыня сползла и обнажила бледный гобелен.

Все так же выкатывались и горели ночные безумные глаза. Все так же медленно, важно ходили тощие черные кошки из комнаты в комнату.

— Батя! Горит душа! Горит... а ну как там что-то и правда есть?!

Матвей прижал обе руки ко рту.

— Бать! Что молчишь! Ведь есть!

Матвей нашел в себе силы кивнуть. Рук от лица не отнял.

— Бать, а я правда свою прожил жизнь?.. свою?!.. а может, чужую?.. Воровал, воровал... и доворовался... Да разве она была — моя?.. Нет!.. не моя. Нет! Я все время только и думал... как бы стибрить удачно... то... что плохо, плохо... плохо...

— Тебе плохо?!

Матвей вскочил, схватил Марка за плечи. Тряс.

— Сынок! Сынок! — Плакал в голос, всхлипывал. — Скажи мне! Скажи! Что у тебя сейчас болит! Лучше я свою руку сломаю! Ногу! Пусть у меня болит! А не у тебя! У меня! У меня!

Рыдал неудержно.

Марк выдавил из окровавленного рта длинный хрип:

— Плохо... лежит... <...>

* * *

...стучали в дверь, тихо и настойчиво.

Матвей встал со скамеечки, разогнулся, застонал, поясницу крепко потер. Красный его халат распахнулся, обнажая худые, как корни сосны, ноги в штопаных домашних штанах.

Он побрел к двери и добрел до нее.

— Кто?

Детский голосок за дверью раздался:

— Откройте!

Ну, дитя, милостиво думал Матвей, небось соседское, небось понадобились кому сердечные капли, а может, луковица, а может, яйцо, а может, градусник, вот к доктору послали.

Загремел замком. Девочка стояла на пороге. Лет десяти. В отрепьях.

«А, нищенка. Побирается. Бедняжка, малышка. Надо что-то дать. Что?»

Огляделся беспомощно.

— Я... знаешь, сейчас кусочек тебе вынесу... Я — сыну приготовил... он у меня...

Не помнил, как это вырвалось.

— Умирает...

Девочка не переступала порог. Стояла перед дверью.
Матвей повернулся и пошел на кухню, шаркая тапками. Детский голос толкнул его в сгорбленную спину:

— Пустите меня к нему!

Он остановился. Обернулся.

— Это еще зачем?! Еще тебе не хватало...

Он хотел сказать: «видеть смерть», — а вышло будто: «еще тебя тут не хватало».

Но рука сама махнула: иди!

Нищенка переступила порог.

Она вошла, маленькая девочка, беднячка, побирушка, и кто только ее прислал, а может, сама явилась, никто бы не разгадал ее появление, — вошла и безошибочно направилась в гостиную, где Марк лежал на старом скрипучем диване.

Когда девочка подошла к дивану, Марк разлепил веки.

Он открыл глаза.

Смотрел на диковинную девочку и медленно, страшно узнавал ее.

Радость залила его уродливое, отечное, синее лицо, лилась на подушку, на одеяло, на вытянутые вдоль тела руки.

Ты пришла... но как же...

Девочка молча улыбалась.

Но ты же ведь уже старая!

Девочка переступила с ноги на ногу, и Матвей с ужасом увидел — у нее босые ноги.
Зимой!

Я забыл, как... тебя... зовут...

Марк вздохнул глубоко и тяжело.

Да я и не знал...

Девочка улыбалась.

Губы Марка шевельнулись. Он хотел сказать слово. И не мог. Щетина на верхней губе стала сизой, ледяной, будто на глазах покрывалась инеем.

Ты что... молчишь?.. ты не молчи...

Матвей сходил на кухню и вернулся. В одной руке он держал кусок хлеба, в другой — кусок колбасы.

«Она ведь не собака, чтобы ее — так вот — кормить! Эх я, дурак...»

Марк бессильно закрыл глаза. Не мог глядеть. Девочка подошла ближе и села на пол у изголовья умирающего. Матвей все стоял с хлебом и колбасой в руках. Все произошло до обидного просто. Хорошо, что они тут были все втроем. Марк вытянулся на диване всем телом, коротко и страшно, как птица, крикнул: от боли? прощался? или увидел что, напугался, восхитился? — закинул голову, и Матвей увидел его торчащий кадык, и кровь хлынула у него горлом на подушку и простыню, слишком темная, черная кровь, и он ею захлебнулся, а потом враз весь Марк уменьшился, опал, будто его ножом проткнули и воздух из него весь вышел; ушел головою в подушки, ступни из-под одеяла странно, деревянно вывернулись и лопатами торчали, рука с дивана падала, к полу протянулась. Застыл.

Отец все держал в руках колбасу и хлеб.

Он не поверил.

Сын умер.

А он не верил.

Он не знал.

Не хотел знать.

* * *

Мир мигал и мерцал тысячью больных лиц. Они оставались за порогом. Матвей их не видел, только дрожал от их нежной близости. Марк лежал в крови, весь перепачканный кровью, будто невидимая гигантская женщина тяжело рожала его и вот родила, и он, рожденный, лежит в родильной крови, счастливый. Старый хирург, надо было безжалостным ножом вырезать, а жадными, в резиновых перчатках, дрожащими руками вырвать из внутренностей, украсть навеки лишь одно: сердце, свое собственное, украсть его у себя и отдать хирургу другому, молодому, пусть неопытному, да горячему и смелому, — пусть бы он сыну его сердце пересадил! И вырезать легкие, и пересадить ему. О, нет! Нет! Не достигла еще медицина таких великих высот. Врач не Бог, и никогда им не будет. Сыночек, от чего ты умер? Ты не мог своровать себе вечный воздух. Вечно дышать! Разве есть что вечное? Человек не перпетуум мобиле. Все уходит! Все уйдут! Сын ушел раньше отца. Зачем эта девочка здесь? Кто она такая?

Сидела у ног мертвеца, около старого дивана с обивкой из настоящего неба, живых деревьев и пухлых веселых облаков.

В комнате пахло солью и гарью. Как после взрыва.

Матвей протянул девочке хлеб и колбасу.

— Возьми!

Это прозвучало как: «убирайся отсюда».

Он так хотел сейчас остаться один.

Девочка взяла еду у Матвея из рук, на него не глядя.

Она глядела на Марка.

Мертвый сын лежал на ложе. Пал под полог, тяжелый и вспыхивающий мелким жемчугом, расшитый искрами аметистовых сколов. Рвались и в рулоны скручивались старые, порванные кошками обои. За время умиранья сына у Матвея отросла белая борода. Она важно струилась на грудь, обвернутую красной тканью. Матвей, живой флаг, и древко скелета еще обхвачено честью и славой. Красный халат, кровь всех больных! Сколько он разрезал людей, а сколько заново сшил! Ему кланялись в пояс, благодарили за жизнь. Он смущался: не надо благодарности, это моя работа. Работа — вот в чем все дело! Важно хорошо работать, тщательно, крепко. Каждое утро благодарить Бога: спасибо, Бог, что послал мне этот день, еще один день жизни, — и натягивать резиновые скользкие перчатки, и вставать к стерильному операционному столу.

Старый отец, ты еще жив. Жив ты еще, курилка! Почему ты в операционной, и без маски? Потому что я задыхаюсь. Мне больно дышать. Я знаю, будет война. Мы от нее никуда не спрячемся. Раньше, позже — неважно. Я буду оперировать сотни, тысячи людей. Они будут кричать: от ожогов, от рваных ран, от дикой, острейшей боли, и будут глядеть на меня, как на Бога: спаси! излечи! избавь! сохрани! Избавить тебя от боли, дружок? Но ведь жизнь — это боль. Вынуть, вырезать из тебя боль? Но ведь любовь — это боль. Все самое живое — это боль! Даже радость. На вершинах радость и боль сходятся. Их нельзя различить.

Мертвый сын лежал спокойно. Ступни чуть вывернуты наружу. Так надо. Так уходит человек, по невидимым облакам ставя кривые ноги. Старый отец стоял рядом, бесильно разведя дрожащие руки. Седая борода мерцала. Из-под дивана высовывалось судно. Девочка сидела в ногах мертвого человека, простыня, измазанная кровью, отгнулась, и яснее, веселее проступил узор вытертого гобелена: лодки, лилии, смеющиеся лица давно мертвых людей. Они скелеты! Плоть не значит ничего. Остается лишь то, что ты сам сделал, сработал.

А что делал я всю жизнь, спросил себя Матвей, что же делал я?

Родил шестерых детей. Любил женщину. Все умерли. Все. Никого нет!

И вдруг тысяча лиц, тысяча ног, что с шорохом топтались, смущенно мялись у порога, начали стекаться и влетать в комнату, растекаясь по соленому воздуху, пачкать руки и губы кровью его сына, падать перед ним на колени, принимать щеками к его мертвым рукам и ногам, да и ему, Матвею, в ноги валиться, и обнимать его ноги, и закидывать лица, полные обожания и любви, и слышал он тысячи голосов: спасибо! спасибо! великий врач, спаситель наш, спасибо! Ты оживил! Ты воскресил! Ты вытащил из ямы, а мы-то думали, надежды нет! Ты — заново — нам — наших любимых — родил!

Ваших... любимых?

Он не мог думать. И говорить.

Да, да! наших родных! Нашу, нашу любовь!

Ты родил нам — нашу любовь! Как же мы можем тебя не любить?

Он оглядывался в изумлении, в полнейшей растерянности. Как это, он родил? Спасал? Да он просто делал свою работу! То, чему его учили! А его учили, разрезая и причиняя боль, лечить больного человека! А он, он так всю жизнь хотел быть вором... вором... веселым таким вором, разбитным, всемогущим... владыкой вещей, сердцеедом, скитальцем... и презирать осторожность, и ненавидеть правила и лекарства... знать только ветер... и волю...

Нежно, взошедшей в ранней ночи Луной, сиял у него на голове огромный, неряшливо наверхенный тюрбан. Кухонное полотенце? Дамасский атлас? Тускло, тихо светились нашитые на бело-желтый, ветхий шелк камни: перепелиные яйца яшмы, густо-красные турмалины, россыпи детского жемчуга. Надо лбом Матвея, крепко пришитый к тюрбану, пылал грозный рубин в виде большой звезды. Матвей робко поднял руку и пощупал камень. Он холодом прожег ладони старика. Истрепанный, обветшалый царский плащ струился с плеч; Матвей всю жизнь считал его старым халатом. Хватался за полы, за воротник. Укутывал плечи. Ткань все равно вырывалась из рук, текла на пол, шерстяной дырявой кровью заливала давно не крашенные доски. Носки старых домашних туфель высывались из-под красной полы плаща: когда-то туфли его покойница жена, смеясь, расшила мелкими перлами, добытыми ребятей из речных ракушек, и привезенной с Урала изумрудной крошкой. Зеленые осколки подарил покойной жене сосед Илья Ильич, покойник. Он перед новым годом тихо к ним в дверь постучался и, стоя на пороге, молча протянул жене круглую жестяную коробку из-под монпансье. Встряхнул коробку. Она зазвенела. Илья Ильич улыбнулся, поклонился, торжественно вручил коробку и ушел, сгибаясь наподобие железного, на стройке, на подъемном кране, страшного крюка.

Красная ткань еле тлела. Камни мерцали, гнилые нитки рвались, яшма со стуком падала на пол, швы разлезались. Одежда сползала с Матвея, тюрбан валился набок. Руки его, сухие и ветхие, опять напялили на плечи красный флаг, водрузили на лоб шелковую башню с красной прозрачной звездой. Зачем на него надели все эти тряпки? Кто он теперь такой? Разве в тряпках все дело? Под ними — ребра, плечи, лопатки, плоские мышцы груди, живот и поясница, и что такое живое тело, если его, всякое, каждое, все равно в землю кладут? Земля жадно разевает черный рот. Она живая, и она хочет есть.

Тюрбан все-таки свалился с его лысины, он напрасно ловил его, атласную птицу. Матвей стоял гололобый, крепко жмурился, слезы все равно медленно вытекали из-под стиснутых век. Невидимые люди обступали его плотной стеной. Ему тепло было от них. Еле слышный их шепот обнимал, и прощал, и славил его. Красный плащ никак не превращался в белый халат. Люди мерцали во тьме, наплывали роем прозрачных бабочек из клубящейся тьмы, шептали и кричали ему слова восторга и любви, и Матвей, плача от горя и от поздней радости, стоя в призрачной великой толпе, среди небес-

ной, облачной бездны народу, среди дымом курящихся людей, потихоньку становился одним из них; и он не знал, кого ему за жизнь свою благодарить. Придет день, и он станет мертвым жуком, растопырит костяные лапы, сложит навек хитиновые надкрылья, и мастер-ювелир, придирчиво прищурясь, сделает из него роскошную брошь. У земли в шкатулке тоже должны храниться сокровища.

Мертвый сын лежал в крови, погасший. Закончилась брань. Старый отец в сумерках тихо светил дряхлым телом и алым плащом, старый нечищенный, тусклый светильник. Сам себе удивлялся, стоял, смущенный незримой, неслышимой общей любовью. Зачем ему эта награда? Он сам скоро вслед за сыном пойдет. Нищенка сидела в ногах у покойника и ела хлеб и колбасу. Ее не смущало присутствие смерти.

* * *

И тут весь огромный старый дом, внутри которого тайно торчала, черным сохлым изюмом в каменной булке, старая квартира старого врача Матвея Филиппыча, вдруг просветился насквозь, мощные лучи пронзили его и высветили все его дальние закоулки, и людей высветили в кельях их, в жалких, чистых и грязных, комнатах их; и стало хорошо видно, что не во всех комнатах люди жили, — в иных и умирали.

Весь огромный старый дом, тяжело дышащий старыми легкими дымоходов, сверкающий стеклянными бусами окон на старой груди, внезапно оказался хосписом — ну да, просто нищим простым, суровым хосписом, последней человеческой лечебницей, домом, где за тобой молча, то улыбаясь, то плача, то заботливо, то сердито, брезгливые губы поджав, терпеливо ухаживают, чтобы тебе было не так страшно умирать.

Вот он, дом этот, настоящий хоспис, и тут уже ничего не поделаешь — да, за какой-то дверью, правильно, любовь и страсть, и внезапные острые роды, и праздники, могучее залихватское застолье поет и пляшет, и люди смачно целуются, и выпивают рюмочку, и обнимаются, и бьют посуду, и клянутся, и божатся, и обижают друг друга, и просят друг у друга прощения, — все что угодно горит и тлеет за любую дверью, но за сотней скорбных дверей стоишь, Возлюбленный, Ты! Потому что Ты, Любимый, легкой стопою Своею бесстрашно, беспечально ступаешь вослед смерти человеческой; Ты Сам ее прошел, Ты хорошо, на вкус и на ощупь, на запах и на боль знаешь ее; и Ты молча, улыбаясь, встаешь возле изголовий умирающих Своих и в ногах их, чтобы поймать их последний вдох и утишить, погладить и успокоить их последнюю судорогу. Последний боли крик! Да, Ты слышишь его. Родные затыкают уши и мешками валяются на пол возле кровати: наша кровинка больше не может так мучиться, и мы больше не можем, мы все сойдем от ужаса с ума, помилуй всех нас, скорей возьми его к Себе, Упованный! Плохо молить о чужой смерти? О родной? Нечестиво, жестоко? За всякой такою дверью — уходят во тьму люди, поодиночке или вереницами, а война начнется — толпами во мрак пойдут, взводами и ротами; и Ты, Светлоликий, Ты лучшая сиделка у них в хосписе их: лучший доктор, с дарами в руках, да что угодно держи, хоть хлеб и колбасу, хоть скальпель и марлю, хоть сеledку в промасленной бумаге, а вместо вина можешь водки паленой зеленую бутылку под мышкой весело нести, а вместо креста, чтобы к чужим губам поднести, возьми и живые пальцы над лицом его дерзко скрести: возьми с собою кудрявого, тощего и смуглого ангела в подмогу, он подержит, подаст уходящему последнее причастие Твое, из кружки последней, к чужим устам, ледяную, пьяную воду Твою.

Твой последний Завет, Единственный, каждый умирающий кровью своею — пишет! Корявые те письма не всякий живой хочет читать. Зачем нам всем помышлять о страдании, когда наслаждение ждет? Рядом! За углом! Пить и есть, обниматься-любить, бродить по широкому миру, как по площади широкой! На своем языке кричать

и шептать, на чужом — да это ж все равно! Лишь бы — рот живой! И зубы живые в улыбке! И глаза живые блестят! И не дай Бог нам, каждому, умереть в муках! Но ведь никто не знает часа своего, и никто не знает также Богом сужденной, последней и страшной муки своей!

Мир, о Всепрощающий, догадаться можно было давно, одна огромная больница, где больные только притворяются здоровыми, чтобы не остаться здесь навек, чтобы живо разрезали, ловко зашили, и быстро выписали, и кричали вослед: никогда больше сюда не попадайся!.. живи, только живи!.. а все равно все сюда возвращаются, и мир, Боже Ты мой, ведь это один гигантский хоспис, где живые люди только и делают, что умирают, но в смерти обнимает их Твоя невидимая, неслышимая любовь, над ней же смеются и глумятся, ее же топчут, язык ей кажут, издеваются над ней почем зря и вновь и вновь бичуют ее, полосуют — ремнями, прутьями, плетями, а она все равно есть, она — неубиваема, ничем-никем не истребима, и над их изголовьем, над потными, в слезах и крови, последними простынями их сплетает руки любящих их.

Перед концом многие испуганно, торопливо крестят некрещеных, даже если не веруют в Тебя и отрицают Тебя, все равно, ради спокойствия души своей, желая соблести обычай предков, так Ты, Неизреченный, прошу Тебя, обратись в приглашенного на дом священника: ну что Тебе, Вездесущему, стоит прийти сегодня в нищий закут, в эту забытую камору, где на кровати лежит, стонет и мечется человек? И Тебя нынче позвали сюда; и стоишь Ты, седой бедный батюшка с белой жиденькой бородачкой, и смотришься в старого доктора, как в старое зеркало, так вы смертельно похожи: и бородки, козлино дрожащие, и чуть навывкате подслеповатые глаза, и плывущие руки, у одного привыкли крестить и мазать елеем, у другого — резать и зашивать, под резкие военные команды: иглу! зажим! кетгут! — и Тебя просят: хоть и есть крестик на груди у больного, а Ты сейчас отважься, плюнь на все прошлое, помоги, окрести! Пусть второй раз, а какая разница! Святое — не повредит! Заново валий! Вперед и с песней! Есть ли у Тебя купель? Если нет, я с кухни кастрюлю принесу!

Старый медный таз для варки варенья!

...черные восточные кошки ходили кругами: они танцевали.

А девочка, коричневая, худенькая, смуглая, пустынная, бродячая, шепчет невнятно и печально: а свечи будете зажигать? а вином — из ложечки золотой — угощать? Почему, Бог, Ты умер, и Тебе за это — все поклоняются? Нет, не все! Не все!

И старик батюшка смущается, низко опускает седую кудлатую голову, молчит.

Молчишь Ты, Солнце! Иногда приходится и Тебе помолчать. И молчание Твое — золото Твое.

И все равно крестишь Ты любовью Своею и прощением Своим людей Своих; и пусть иной народ, не верящий в Тебя, опять, скаля веселые зубы, в голос, нагло смеется над Тобой, Ты-то знаешь: все, все, и кто смеется и кто плачет, все окажутся под конец жизни своей в хосписе Твоем.

Дом, живой хоспис, стоял в ночи, насквозь просвеченный людской любовью, а Матвей не на мертвого сына смотрел: он смотрел на маленькую нищенку, как она поедала ей протянутую еду. Съела. Облизала ладонь свою, как зверек. Встала с пола. Раскинула руки. Затанцевала. Закружилась на одной ножке. Мелькали в воздухе одежды. Резко остановилась. Мертво и недвижно, не шелохнувшись, застыла. Вместо девочки посреди гостиной стояла наряженная елка. Горела и переливалась всеми шарами, свечками, бусами, шишками и орехами. На верхушке елки пылала красная звезда. Матвей зажмурился. Так, слепой, медленно, на ощупь, подошел к постели.

К сыну.

— Сынок, вставай... Сегодня праздник... Елка... Новый год...

Мальчик сладко спит. Он сейчас встанет. Мать приготовила на кухне новогодний сладкий пирог, брусничный, как сынок любит, он же так мечтал о пироге с брусникой; напекла румяных смешных беляшей, уже в салатницах дремлют карнавальный пестрый оливье и строгая, от свеклы лиловая, как монахиня в рясе, селедка под шубой, а в белой царской миске стынет чудесный холодец. И в розетке рядом — снеговая горка хрена. И — вот икра, дорого куплена на рынке, у астраханских бойких теток с калмыцким разрезом глаз, тайно, из-под полы, черная, смоляная, зернистая, целая трехлитровая банка, царское богатство, ну, такой знаменитый на весь город врач, как Матвей Филиппыч, может позволить себе к праздничному столу такую роскошь.

За спиной Матвея, внутри медленно шевелящейся тьмы, стояла, тихо мерцающая, всплывающая, как тонкими руками, пучками яркого цветного света, праздничная елка, прекраснее не было на свете.

...елка, целый мир, нарядный, темный, грязный, колкий, остро, больно, ярко, ясно, драгоценный свет, зелено-синяя колючая земля, крутится, солью плачет, кровью горит, ветки и штыки топырит, а Марк собою ее, душистую, смоляную, кровавую, огненную, обкрутил, обмотал живым серпантинном, телом своим закрывал, стеклянные моря ее переплывал, мишуру ее, голодая, глодал, лился по ней вдоль и поперек серебряным, золотым дождем. Всю ее обхватил. Облапил. За одно это, что мир еловый, мрачный он собою, дерзким, обнял, дерзко полюбил и присвоил, в торбу сердца весело засунул, ему все грехи простятся. Кем? Да им. Им самим. Матвеем, как тебя по отчеству, доктор? Эй, Матвей, а тебя Матвей зовут? Может, иначе?

...отец тормошил сына за плечо.

Кровавая простыня комом легла под твердую кеглю детского колена.

— Ну же, ну! Марк! Засоня! Хватит спать! Пора вставать!

Он знал, где на стене висит отрывной календарь.

Протянул слепую дрожащую руку, скрюченными сухими пальцами нашел старый желтый листок, оторвал.

Смял в кулаке.

Он своровал время. Все-таки своровал.

Ему удалось.